

Д Р У Ж Б А
П О В Е С Т Ъ *)

Тень от гигантов-деревьев, аллеи кукурузы среди улиц, нежная ее зелень, выписанный рисунок листьев, тихое и неумолчное журчанье арыков, базары, заваленные розовыми пушистыми персиками, тяжелыми кистями винограда, зелеными ароматными дынями с узорчатой коркой.

Крики ослов, бляение баранов, упругий шаг верблюдов, сопровождаемый мерным перезвоном колокольцев, чья-то застывшая на одной ноте песня.

Пестрые одежды, яркие шелковые платья свободного покроя, цветные шаровары, обнимающие ногу расшитой полоской чуть выше туфель, лиловый и зеленый бархат халатов. Вышитые шелковые платки подпоясывают халаты. Кое-где платок одет на рубашку и даже на пиджак. Черные квадратные тюбетейки с четырьмя затейливыми белыми медальонами или цветные, расшитые сплошь. Каждый цвет живет и играет своей жизнью, но все вместе, радужные и радостные, яркие и ликующие, похожи на праздник.

Кривые лабиринты узких серых переулков старого города. Бесконечные тупики. Глухие земляные стены, глиняные стены в полтора человеческого роста, плотно закрытые двери, томительное отсутствие окон.

Квадраты водоемов, окаймленные деревьями.

Крытые коврами помосты чайхан, дымящиеся пиалы ароматного чая, золотистые палочки шашлыка.

Скрип громадных колес арбы.

Мастерские на каждом углу, пламя горнов, лавки с расписной глиняной посудой.

Непривычная музыка незнакомой речи, спор, смех, яркая улыбка, горячий блеск глаз.

А над всем глубокая синяя чаша южного неба и палящее золото солнца, лучи которого делают драгоценными и без того сверкающие краски цветущей земли.

И все это кажется чужим, ненужным ни на миг.

Что говорит здесь о войне? Есть ли она для всех этих людей, смеющихся, спорящих, оживленных? Или через степи, горы и реки не доносится дыхание ее в благословенную Ферганскую долину, город-сад, гранатовый город?

Поток измученных дорогой и горем грязных, голодных, людей словно нож врезается в город.

Приехали в выходной. Кое-кто быстро выгрузился из вагонов, около заборов и складов устраивались на временное жительство отдельные семьи, но началось замешательство, обратная погрузка, беспорядок. Кто распоряжался — было неясно. Таня расспрашивала, сердилась и, наконец, поняла, что станция — тупик, дальше ехать некуда, временно до завтрашнего дня предложено остаться в вагонах. Стало даже легче — так надоели, так измучили все дорожные перегрузки, хлопоты, тюки, мазутная грязь, а тут можно еще день - два прожить спокойно, пусть в душной тесноте товарного вагона, но все-таки спокойно. Маленький паровозик, шумно пыхтя с усилием оттащил состав на запасный путь и скоро люди жили уже привычной за дорогу жизнью. В ведрах и чайниках варились галушки, в тазах и кастрюлях стиралось белье; за вагоном, отгородившись простыней, женщины мыли голову, радуясь возможности смыть дорожную пыль; играли дети. Нестерпимо пекло солнце.

*) Сокращенный текст.

Таня получила хлебный паек, достала молока, вскарабкалась в вагон.

— Ну, наконец-то, приехали, — говорила она, разрезая на равные доли хлеб, разливая молоко по кружкам. — Кажется, попали в хорошее место. Тепло. До зимы сумеем устроиться. Фрукты. Помню, я где-то читала про эти места...

Наташа слушала молча. Ничем, никак не могла Таня всю дорогу вывести ее из состояния душевной подавленности. Так тяжело было видеть врезавшуюся глубоко складку на лбу, резкие складки около губ, сосредоточенно горький взгляд. В дороге то оставляла ее в покое, чтобы дать возможность освоиться с горем, то говорила о Васе, вспоминала черты лица, его детские шалости и капризы, думала, что прорвется горе слезами и легче будет Наташе. Но не менялся безучастный взгляд, не разглаживались морщины. Вся она стала какой-то маленькой, безразличной, серой. Даже об отце не думала. А Сергею Фомичу было совсем плохо. Лежа на тюках и чемоданах, неподвижный, отяжелевший, говорил непонятно, с трудом ворочая языком. Только спрашивал у Тани:

... аня... о... а... онте?

И Таня знала что это значит: «Таня, что на фронте?» — и склонившись к старику, рассказывала ему, что готовится скоро, совсем скоро большое наступление.

Тревожный вопрос мелькал в глазах Сергея Фомича, вздрагивали брови, напряженно двигались губы, сиюсь выразить словом волновавшее грудь. И Таня знала: «Когда же,— хочет спросить старик, — доживу ли?».

И тревога сжимала сердце, повторяя «когда же»? И доживет ли Сергей Фомич, и доживут ли тысячи других, молодых и сильных. Доживет ли Борис? Сам вопрос внезапно казался ей преступлением. Можно ли спрашивать, можно ли не верить? И горячо возмущившись минутным раздумьем, как будто это раздумье, это колебание само по себе было угрозой для жизни Бориса, для жизни других таких же молодых, сильных, близких, родных, начинала доказывать Сергею Фомичу, что скоро, и доживет он до этого часа, и час этот вернет ему здоровье и силу. В то, что скоро, верила душой. Враг стоял у Сталинграда, хозяйничал на Кавказе. Замирала у радио, ожидая всем существом вести о наступлении, о начале победы, отходила с крепко сжатыми губами: еще не сегодня. Через тысячи километров говорила с Борисом, не могла, не хотела представить его на пути на восток.

Этот чуть на восток, скорбный, пыльный, горький... Светлану отправили с Наташей и Васей, с Сергеем Фомичом. Просто не верилось, что город может быть взят. Отправила на случай бомбежки, чтобы не испытывали на себе тревог прифронтовой полосы.

По городу проходили войска, куда — не задумывалась: идут, нужно, война... Окончательно переселилась на работу. Набегала мысль о Борисе, о Светлане. В один из дней, спускалась вниз по проспекту мимо цветника и вдруг увидела. Сбоку дороги стоял танк запыленный, в сетке засохших зеленых ветвей. Прислонившись к люку — танкист. Около танка люди в угрюмом молчании. Ни о чем не спрашивают танкиста, ничего не говорит он. И пыль на танке, и маскировка из веток, и тяжелый опущенный взгляд из-под сдвинутых бровей яснее слов сказали: «уходим»...

Ясное солнечное утро. Улицы родного города, дети, цветы. Звено за звеном заходят фашистские стервятники, и с голубого солнечного неба несется смерть и разрушение. Раненые. Кровь. Перекаленные руки и ноги.

Внизу горит нефтебаза. Густой черный дым расплывается над нижней частью города. Было ли страшно, Таня и потом не знала. О себе и своей жизни не думалось. Думалось о другом: надо перевязать раненых, достать машину, отправить в больницу. Бежала за машиной, перевязывала, с бессильной ненавистью грозила самолетам, разворачивавшимся на голубом небе, припадала на мгновение к земле, кого-то успокаивала: ну вот и кончилось, вставайте!

Внезапно перед ней вырос Тарасов:

— Чорт возьми! Целый час ищу. Немедленно в райком.

Около райкома машина. Кузов ее дрожит от напряженной работы мотора, машина готова к отправлению. Открепительный талон. Приказ — немедленно из города.

Лавиной идут люди, взрослые, дети, старики. Юноша несет на руках старуху. Плачет она, припав ему к плечу: «Оставь меня, Лешенька. Не уйдешь ты со мной». С какого-то грузовика летят мешки в канаву, протягиваются руки, и старуха с сыном в машине. А сзади то и дело раздаются гул взрывов. Сзади зарево пожарища. Странно, что ни гул взрывов, ни толпа, льющаяся по дороге, не могут заглушить степной жизни. Таня идет по траве, из-под ног выскакивают зеленые кузнечики, степные ромашки не потеряли белезны. Вечереет. Таня оглядывается назад и долго стоит, сжимая руку Тарасова. Полнеба объято пламенем. В кровавых отблесках как вырезанный силуэт

колокольни, очертания каких-то зданий. Кажется, что вечер доносит крики боли и ненависти, искры пожара.

— Мне бы только до первого военкомата, — вырывается у Тарасова. — Подумаешь, броню дали.

Усилием воли заставляют себя идти дальше, сломленные усталостью засыпают в каком-то овражке. До рассвета вскакивают. Автоматная стрельба. Может быть, занимают село? Пожар в городе не утихает, новое зарево сбоку.

Многодневный путь в толпе людей, оставшихся без крова. Початки молодой кукурузы на обед... случайный час - два езды на попутной машине, новые товарищи в пути. Тарасов не дошел и до военкомата. На ночлеге узнал у остановившихся рядом красноармейцев, что идут они на переформирование. Утром сказал Тане:

- Ну, Бородина, тебе желаю дочь скорей разыскать, до места добраться, а мне уж довольно. И так не знаю, куда глаза со стыда девать.

Крепко пожала руку.

— Может, Бориса моего встретишь...

И не показалось странным ни ей, ни ему, что может встретить он Бориса на этом, растянувшемся на тысячи километров фронте. Спросил серьезно:

— Ну что сказать?

— Скажи — люблю его, скажи — жду.

И знали оба, что «жду» это не только — к Борису. Жду победы, а с ней и того, чтобы утихло пламя над родным городом, над родной землей, чтобы вернулся Борис, чтобы обняла Светлана отца и еще много «чтобы» было в этом «жду».

Наташу догнала только в Махач-Кала.

Светлана, похудевшая, обрита, с торчащими ушами припала к матери, только губы вздрагивают. Прижала к себе ее, ощупала жадно всю, словно не веря, что дочь с ней. Сколько раз в эти дни казалось, что не встретит ее, потеряет навеки. Только две недели прошло, а незнакомым кажется и голос, и взгляд.

Лаская Светлану, подняла голову на Наташу, выпрямилась, пораженная тоской неподвижного взгляда, постаревшего лица.

— Что случилось, Наташа?

Медленно ответила:

— Дочь тебе сохранила, а сына своего не уберегла.— Скупно рассказала о своем горе. Ехать должны были с детским домом. Пришла договариваться. Договорилась. Оставила Васятку. Побежала за Сергеем Фомичом, Светланой, вещами. Добралась до вокзала — поезд ушел. Бросилась на станцию. Никто помочь не может, никто ничего не знает. Только на третий день смогли выехать. Приехали сюда. Здесь разыскали следы. Почему-то детский дом расформировали, детей распределили по другим детдомам. Всех вывозят за Каспий.

— Найдем. Ведь здесь же, — горячо успокаивала Таня.— Не успели вывезти за эти дни.

Ходили по городу, дежурили у пристани. Оживившаяся, было, Наташа снова сникла. День шел за днем. Наконец, стало ясно, что ждать нечего.

Измучилась Таня в дороге, но всеми силами сохраняла душевную бодрость, рассказывала Сергею Фомичу о том, как начнет наша армия гнать врага, говорила Наташе о том, что вот только до места доехать, а там начнут они поиски Васятки, самое главное — жив Вася, а значит, найти его — только вопрос времени; на станциях бегала получать хлеб, за время стоянки поезда успевала удачно выменять шелковое платье на два кило, пшена, да еще и кашу сварить.

И вот конец пути! Таня налила в чашку молока, дала с куском хлеба соседке. Та давно сидела без денег. Приветливо кивнула ей:

— Ну вот и доехали.

— Доехали, — невесело отозвалась та, — а что будет с нами здесь?

— Хуже не будет, — усмехнулась Таня. — Да что в самом деле голову вешать? Работать будем.

— Работать, — откликнулась пожилая женщина. — Истосковались по работе.

— Стыд съедает, — поддержал из другого угла кто-то.— Такая война идет. Рук в любом деле нехватает, а мы, — голос звучал непередаваемой иронией, — два месяца катаемся.

— Катаемся? — обиженно перехватила высокая старуха.— Врагу бы моему так кататься — измучились, устали, грязью заросли, хлеба вдосталь не видим, — голос ее становился все выше и выше, и по интонации незаметно было, чтобы она хотела остановиться.

— Погоди, мать, — перебил ее Иван Васильевич, пожилой рабочий, ставрополец, друг всех жителей вагона. — Это все знаем. Это сейчас, когда за собой смерть оставили, дело маленькое. Ты другое подумай. Вот перед нами новый город. Чужой город, чужой народ. Не так я сказал. Не чужой. Чужаки — то другое значит, а скажем, к примеру, незнакомый народ. И вот надо и тебе, и мне, и им всем, — широким жестом обвел вагон, — скорей здесь место свое занять, чтобы польза от нас была. Чтобы, понимаешь, честь свою рабочую или там, скажем, крестьянскую...

Он перевел глаза с одного на другого — те же мысли навстречу, тихо, но твердо закончил:

— ...Честь свою советскую утвердить...

— Да что ж мы, — откликнулась старуха, — разве не понимаем. Только и ты пойми. Сколько страху набрались, сколько горя натерпелись, сердце-то как болит. А слово — оно слово и есть. Ты меня в деле возьми посмотри. Телятница я. Колхоз наш «Красный партизан» по краю известный колхоз...

Сколько раз слышала Таня в пути эти разговоры, и никогда никто не сказал: был известный колхоз, была передовая фабрика, и сейчас за дымом и пожарищами живут имена городов, колхозов, фабрик, знатных людей, живут не в прошлом, а настоящим и будущим живут. Полуобняла Наташу, шепнула ей: «Послушай, от сердца люди говорят».

А старуха продолжала:

— И здесь работать хочу, чтобы не срамить имени своего колхоза. А только, — смущенно засмеялась, потом сразу решила, — скажи ты мне, колхозы-то есть здесь?

Иван Васильевич даже по колену себя хлопнул:

— Вот отмочила, Трофимовна! Ты что же полагаешь, что в другое государство приехала?.. Здесь, брат, наш советский народ живет. Ну и придумала — есть ли колхозы! — засмеялся, кротя головой.

Старуха обиделась.

— Нашел прицепку — посмеяться можно. Спросила тебя попросту, а ты и рад. Конечно, есть колхозы, только все, может, не так, как у нас.

Таня, проверяя, смотрела на себя со стороны. Конечно, она знает, что колхозы здесь есть и народ живет наш, советский, не чужой по духу, а все-таки как-то тревожно на сердце, хотя и старалась не показать этого ни Наташе, ни Сергею Фомичу, да и себе, пожалуй, старалась не показать.

Только хотела вмешаться в разговор, в квадратной двери вагона показалось лицо Клавдейки-подростка, разведчицы на всех станциях.

— Чего сидите-то? Через десять минут последние известия, — побежала к станции.

Один за другим попрыгали из вагона, встали под черной трубой громкоговорителя. Услышат ли то, чего так ждет сердце?

Сбоку на раскаленных рельсах около гигантских штабелей хлопковых тюков сидели дети, продавали незнакомый плод незнакомой земли, желтые, розовые, красные гранаты. Томительно пекло солнце.

* * *

Утром явились какие-то люди. Снова, как десятки раз, волнения, списки, шум. Наконец, стало ясным все. Едут в колхоз Чкалова, там есть помещение — недостроенный клуб. Пока тепло, разместятся там. Кто пойдет на работу в колхоз о тех позаботятся в колхозе, остальные смогут постепенно перебраться в город.

В одной большой комнате недостроенного колхозного клуба расположились три десятка человек. Прежняя теснота и неустроенность. Просто таборная жизнь с улицы, из вагона перешла в эту длинную пятиоконную комнату. Только лежать можно, не скрючившись, как в вагоне, а вытянувшись, во всю длину. Сергея Фомича устроили в углу. Дорога окончательно обессилила его. Лежал, закрыв глубоко запавшие глаза, только левая сторона лица беспрерывно подергивалась.

Таня, кое-как сдвинув вещи, создала какое-то подобие границы, «своего угла». Наташа села в ногах отца, прислонясь закинутой головой к стене.

Так недавно, так близко — было счастье. Андрей стоял у распахнутого настежь окна, держал на руках сына. Ветер, врываясь, трепал легкую белую ткань занавесок, играл темными прядями кудрей отца, светлыми, мягкими, как пух, волосенками сына, а солнце заливало всю комнату, все сердце. И

вот ничего. «Младший лейтенант Егоров Андрей Михайлович пал смертью храбрых на поле боя». После вести этой, после отчаяния, после слез вся ушла в сына... Своими руками посадила его на платформу, где ехал детский дом, не оглянувшись ушла! Мать! Да где сердце материнское было, почему не почувствовала ничего. Своими руками... Василька... сероглазого, ласкового, упрямого...

Что-то волнуясь забормотал Сергей Фомич. Склонилась к нему, взяла за руку. Крепко сжал ей пальцы левой, еще живой рукой, посмотрел, сился что-то сказать. Не смог, только сильнее задергалась щека.

Еще тяжелее стало на сердце, проснулась острая жалость к отцу.

— Что вы, папа, успокойтесь. Не волнуйтесь. Вам чего-нибудь надо?

Отрицательно повел глазами, еще крепче сжал руку, еще больше боли во взгляде.

Наклонилась, поцеловала, пригладила растрепавшиеся волосы старика.

Закрыв глаза, медленно покатила светлая слеза из-под сомкнутых век. Ослабил пожатие. Чувствовала, как вздрагивают пальцы.

В наступивших сумерках почти не видно было его лица.

Страшным усилием воли ему почти ясно удалось сказать:

...асю бер-ги. День — радо-ти... удет — меня помяни...

Застонал и затих. Наташа тревожно схватила Таню за руку:

— Что с ним, Таня?

Таня склонилась над стариком, выпрямилась:

— Заснул. Слышишь, как ровно дышит, может, и полегчает.

Умер Сергей Фомич ночью, не приходя в себя. Ложась спать, Наташа слышала тяжелое дыхание старика, но все-таки усталость поборола. Вытянулась на полу, закрыла глаза, думая, что теперь на месте нужно подлечить его, завтра купить молока, достать сахару. Ночью проснулась от какого-то внутреннего толчка. Из угла, где спал отец, доносился тревожный прерывистый хрип. Разбудила Таню, с трудом достали огарок свечи.

Наташа, глухо рыдая, припала к ногам отца. Таня стояла над ней, глотая слезы.

Проснулся Иван Васильевич, приподнялся на локте, сразу понял все. Разбудил жену, подошли помочь.

Обмыли Сергея Фомича, одели, стараясь никого не будить. Даже Светлана не проснулась. Трещи и расплавляясь по подоконнику, догорал огарок.

Молча сидели до рассвета, было очень одиноко. За окном от порыва ветра сухо шелестела кукуруза, в ночной тишине раздавались чьи-то крики.

Никогда не забудется следующий день.

Сергей Фомич лежал накрытый простыней. Соседи сочувствовали горю, но жизнь требовала своего. Они обедали, чинились, чистились, мимо умершего пробегали дети, со слезами или со смехом. Денег не было. Решили продать туфли, но подошел Иван Васильевич, принес двести рублей в долг дня на два. Таня пошла в город. Наташа осталась с отцом, Светлана, притихшая, сидела около деда, глотая слезы.

Весь день пробегала, выполняя необходимые формальности, потом стала искать лошадь с телегой. Жаркий день клонился к вечеру. В шесть закроется склад Горкомхоза. Нет, видно придется взять что попало. Но и договориться с возчиком было почти невозможно, ее не понимали, она — тоже. Наконец, условилась с одним стариком, но когда возчик подъехал к Горкомхозу и увидел гроб, то хлестнул кнутом ишака и тот затрусил прочь, оставив Таню с гробом на улице.

— Заразы боится, — равнодушно объяснил кладовщик, запирая склад. Но заметив танино отчаяние, посоветовал:

— Рядом тут узбек один живет. У него ручная тележка есть. Ничего, сильный, за сотню свезет.

Через час была дома. Могильным холодом веяло от отца, когда Наташа с Таней перекладывали его на последнее ложе. Гроб пришлось заколотить, чтобы можно было прикрутить его веревкой к тележке. Шли за гробом, охваченные горькими мыслями. Колеса тачки вязли в песке, узбек с большим трудом тянул ее и скоро, пришлось помогать ему. Напряженно вытягивали тяжелую тачку, утопавшую в песке, усталость не давала даже сосредоточиться на прощанье со стариком. Темнело, когда добрались до кладбища. Войдя в ворота, Наташа остановилась: ни деревца, ни травинки. Песок да камни. Сторож, потревоженный в позднюю пору, неприветливо кинул веревку и лопату, дал ведро с водой.

Неумело и волнуясь опускали гроб в могилу. Наклонилась Наташа к земле — бросила первую горсть. С глухим шумом падала земля, со стуком сыпались камни на крышку гроба.

Узбек взял лопату из таниных рук. Сравнялась могила с землей, начал расти холм. Выше и выше — последний знак жизни человека.

Полили водой, обложили камнями.

— Айда домой, — решительно заговорил узбек, собирая лопату, веревку, ведро, — завтра придешь.

Таня крепко пожала ему руку — таким родным показался он за этот путь, за эти минуты помощи здесь, протянула сторублевку. Узбек отвел ее руку.

— Деньга не надо. Узбек сердце есть. Айда домой. — Он повернул с тачкой к сторожке.

Наташа снова склонилась головой на камни.

Прощай, бедный старик. Нелегкую жизнь прожил ты. Честно прожил ее. И не такая бы старость полагалась тебе за труд твой многолетний, за сердце твое.

С кладбища ушли в совершенной темноте, шли усталые, молчаливые. Плутали среди узких кривых улочек. Ночь стояла теплая и по-южному темная. Во дворах взбрехивали собаки. Ни луча света не пробивалось на дорогу, глухой стеной обернулись к улице дома.

Таня вела Наташу под руку, думала о том, как перенесет Борис весть о смерти отца. А может, не писать пока?

* * *

Сафар проснулся рано, с первыми лучами солнца, навсегда осталось это в крови от батрацких лет, откинул край полога, закрывавшего ночью кровать от moskitov, сел, сунул ноги в калоши. Широкая почти квадратная деревянная кровать стояла в тени виноградника. Из-под темнозеленых резных листьев свешивались тяжелые гроздья, розовые с белым налетом, золотистые, словно налитые солнцем, черные. Девятнадцать сортов винограда растет на дворе у Сафара. Зеленые круглые с толстой, будто покрытой пушком кожурой виноградины, или удлинённые, совсем прозрачные, даже косточки видны. С ранней весны, откопав виноградные лозы из земли, Сафар начинает радостно следить, как все выше взбираются они, переползают через решетку, свисают с другой стороны, как шире и сочнее становятся листья, раскачиваются ветром зеленые усики, как трогательные и слабые возникают будущие гроздья. В них, светлозеленых, маленьких, различает опытный глаз все будущее богатство расцветок и форм, сочность и сладость, радующие людей. Наступает день, когда Сафар взбирается на деревянную лестницу, срезает ножницами первую гроздь, передает жене, которая стоит с тарелкой внизу. Ягоды еще кисловатые, терпкие, но кажутся лакомством. А через две — три недели один за другим начинают вызревать сорта и Сафар, то и дело, посылает с Шарипом кому-нибудь из родных или друзей блюдо винограда, прикрытое широкими листьями с четким рисунком прожилок. Но говорит пословица: блюдо туда, блюдо сюда, если пойдешь пустое, разбейся по дороге. И не возвращается блюдо пустое, лежат на нем то пушистые розовые персики, то нежный инжир восковой желтизны.

Хороший урожай, ах, хороший урожай соберут люди, не пропал полугодовой труд.

Довольным взглядом окидывает Сафар виноградник, встает. Стягивает цветным зеленым платком широкую белую рубашку с открытым треугольным воротом, раскрывающим всю грудь.

Выходит из-под навеса. На дворе хлопочет жена, выхватывая из раскаленной печи румяные блестящие лепешки, расцветенные посредине душистыми черными зернышками пряностей, раскладывает их в круглую плетеную корзину.

Сафар обходит двор, заглядывает в сарай, где стоит крутобокая рыжая корова. Один к другому жмутся два черных курчавых барана с изогнутыми рогами, жуют мелконарубленные кукурузные листья. Подходит к большему, запускает пальцы под шерсть, прощупывает нагуленное сало. Коротко мекнул баран, уставился на хозяина круглыми на выкате глазами. К празднику резать можно будет, сытый баран, сала много даст.

Открыл калитку в сад, прошла по нему, посмотрел фисташковые деревья, попробовал крепость подпорок под развесистой яблоней. Опустились ветки под тяжестью плодов, из мелкой лакированной листвы выглядывают налившиеся белым сахаром крупные яблоки.

Подошел к участку кукурузы. Кукурузу уже сняли, только кое-где в нежной зелени дозревали початки, спуская вниз шелковистые коричневые нити. Урожай кукурузы висел желтыми и белыми гирляндами у стен дома. Хороший урожай, одно к одному прилегли, вдавились крупные зерна.

Говорили Сафару соседи, когда передали ему байский дом и байский сад: «Ой, Сафар, накажет аллах за чужое добро». Не поверил. Что чужого было здесь, когда каждая травинка увидела жизнь из его, сафаровых рук. И разве расчелся с ним бай, загубивший любимый цветок сердца, старшую дочь Сафара, разве расчелся? Нет, не накажет аллах Сафара. Свет луны на лицах дочерей, хорошие люди стали их мужьями. Солнца свет в сердце сына. Ахмеджан! И встал в мыслях отца любимый сын, горячий, черноокий, непокорный жизни. Как степного скакуна, седлал жизнь, натягивал поводья и дрожа, укрощенная шла по дороге, куда правил путь Ахмед. Не один был, людей за собой в каждом деле вел. От него услышал Сафар первый раз слова «коммунист» и «Ленин».

Ахмеджан! Позвала война — пошел со словом горячим. Не один пошел, людей позвал за собой.

Вечером в этот день сказал сыну — ой, стыд седой бороде Сафара, никому не признается в своих словах, — но ведь единственным сыном был Ахмеджан:

— Далеко война от нашей земли. Кто будет покоить мать твою, если случится недоброе с тобой?

Спросил и тревожно замолчал: до сих пор только правде учил сына.

Медленно поднял на отца глаза Ахмед, словно горячее стали они в эти часы, вместили в себе что-то большое и прекрасное.

- На нашей земле война, отец. На советской. На той, что сделала меня человеком, дала вам покойную старость, на той, для которой рошу я сына моего, отец.

Говорили весь вечер. За дверью плакала Азиза о сыне, сдерживая слезы, собирала мужа Шарафат, а Шарип такой же гибкий и стремительный, как отец в детстве, не спускал с отца глаз. Волнуясь, прошептал на ухо деду:

— Сильным юношей хочу я быть...

В утренней тишине сада гулко ударилось о землю переспевшее яблоко, шум прогнал воспоминания.

Снова вышел во двор, склонился над арыком, приятно освежила прохладная, чистая вода. Не глядя, протянул руку, знал, что жена стоит рядом с полотенцем.

С кровати уже успела она убрать одеяла. Тяжелые, снесла их на голове в комнату. Положила одно на другое в стенной нише. Сафар прилег, глядя как жена быстро снует по двору, собирая завтрак. У печки сменила ее Шарафат, сразу раздумываясь от жара. Задвигался полог над кроватью, где спал Шарип, из-под полога выглянул быстроглазый улыбающийся подросток.

— Вставай, лодырь, — шутливо прикрикнул Сафар, пряча в усы улыбку.

Шарип упруго выпрыгнул из-под полога, приподнялся на носках, потянулся, подбежал к арыку. Через минуту сидел рядом с дедом.

Сафар позвал жену. Когда выпили по пиале чаю, сказал, как всегда, отдавая распоряжения на день:

— Скоро Джамия с мужем будут. Слышал я, что в этот базарный день хотели они приехать.

Промолчала Азиза, только улыбкой выразила радость, что увидит дочь. Жила дочь в районе, где муж ее был председателем колхоза. В летнее горячее время трудно было вырваться в город.

— Я ожидать не буду, на базаре дела есть, вечером гости будут.

Не спросила Азиза ничего. Много лет прожила с мужем, душа в душу жили, но закон соблюдала твердо. Что нужно знать — муж сам скажет.

Сафар откусил кусок душистой лепешки, запил чаем и продолжал:

— Все для плова приготовить надо. Мяса я возьму. А ты, Шарип, вызови на вечер Рустама и Карима с женой и сыном.

Азиза вынесла из дома зеленый праздничный халат в мелкую черную полоску. Помогла мужу одеться. После ухода Сафара и Шарипа женщины принялись за уборку. Чистили тяжелые ковры. Ни соринки не оставили на политом водой дворе. Изредка переговаривались.

Обеих очень занимал вопрос, по какой причине созывает Сафар родных.

— Может, от Ахмеджана письмо пришло? — высказала робкую надежду Шарафат.

Радостно забилось сердце матери на минуту, но сейчас же опомнилась: нет, не приносили письма, другая мысль у Сафара.

* * *

Шарип скромно сидел на уголке ковра: не подобает под ростку держать себя развязно в присутствии взрослых. Блестящими возбужденными глазами смотрел на собравшихся. Налил крепкий ароматный чай в синюю с позолотой пиалу привстав с колен, почтительно придерживая левой рукой

правую, подал Сафару. Сафар принял пиалу, слегка отогнув рукава халата, начал ломать и раскладывать румяные лепешки.

— Берите, кушайте на здоровье. Будем чай пить, — хитро прищурился, — если бы знал, что придут гости и нужно будет варить плов, еще в прошлом году посеял бы шалу, на прошлом базаре купил казан.

Белозубой улыбкой ответил Шарип, никогда не надоедала ему эта присказка деда. Любил Шарип тихие вечера, когда собирались только родные, особенно в то время, когда по правую руку деда сидел отец, спорил с Рустамом, с дедушкой Каримом; жадно слушал разговоры, по распоряжению отца или деда приносил чурманду. Живой и быстрый Рустам первым вскакивал и шел в танец, вызывал мать или тетку Джамилю.

А отец Шарипа сидел здесь, увлеченный танцем, раскачиваясь, звонко отбивая ладонями такт... Нет, не будет сегодня танцев, не для веселья собрал семью Сафар.

То и дело вскакивал Шарип, чтобы сменить выпитый чайник. Но разговор как-то не завязывался, перебрасывались незначительными замечаниями, выжидающе поглядывали на Сафара.

Наконец, Сафар заговорил:

- Говорит пословица: если ты услышишь голос несчастья будь глух ко всему остальному.

Вздрыгнула Азиза: о сыне? Но нет, другое имел Сафар в виду, печальное раздумье было во взгляде, сидел, поглаживая черную с сильной проседью бороду.

- В день, когда уходил Ахмеджан на войну, долго говорили мы с ним о войне, о дружбе, о чести. Не будь сыном своего отца, — говорят старики, — будь сыном народа. О родном узбекском народе говорил со мной Ахмеджан и о большом советском народе, его беде и его чести. Я, старик, не стыжусь сказать, что не он в тот час слушал меня, — я слушал. И когда он кончил, богаче стало сердце мое, вышли мысли за пределы моей семьи, за пределы нашего города, увидели бранный путь народа, поняли его тревоги и скорбь.

И тогда с болью и без боли сказала сердце: «Иди сын!», а потом мое сердце сказала своей родной стране: «Прими сына моего. Самое дорогое отдаю я тебе в трудный час твой».

Умолк старик. Сидел, прихлебывая чай. Не сводила глаз со старика красавица Шарафат, и каждое его слово рождало в сердце гордость за мужа и чуть-чуть отступала постоянно жившая в нем тревога: казался Ахмеджан сильным и смелым, как богатырь старинных сказок, а такие проходят через все испытания и возвращаются с победой. Всем сердцем устремился к деду Шарип, влага подернула глаза, и когда смотрел на огонь лампы, радужным пятном расплывался он. Боялся поднять глаза на родных: не подобает мужчине плакать, но никто не смотрел на Шарипа, занятый своими мыслями. Задумчиво пощипывая черную бородку, подбоченясь сидел муж старшей дочери Сафара — Магзум — думал о своей большой семье: много бойцов послал колхоз на фронт, много еще нужно послать, заменить, в колхозных трудах, а работы не ждуг, не ждет хлопок — белая кровь родного края — в свое время вызревает он, раскрывая подобные легкому белоснежному облачку плоды-цветы. Не на Сафара смотрит его брат Карим, на сына смотрит: с начала войны проводил двух старших, вчера получил повестку младший, через два дня должен явиться в Военкомат. Долгим взглядом, словно прощаясь, смотрит на него отец, повторяя слова старшего брата: «Прими от меня самое дорогое в трудный час свой».

Снова заговорил Сафар:

— Цветущим садом раскинулся Узбекистан, но к самым стенам его подступило горе людское. Как поток воды глиняные стены дома, размывает оно покой. Говорят: если город утонет, — утке нипочем, но не сердце глупой птицы, сердце человека в груди нашей...

— Семнадцать семей устроил наш колхоз, дал посуду, одеяла, поставил на работу, — тихо ответил Магзум.

— Хорошо, — наклонил голову старик.

— Три семьи устроил я при школе, — откликнулся Рустам, — по поручению товарища Еризбека провел работу с населением: тридцать две семьи разместили мы.

Приветливым кивком, ответил ему Сафар:

— Вчера было собрание у нас в мастерской, — торопливо сказал Карим, — я дал слово принять в дом одну семью, научить трех подростков сапожному мастерству.

Улыбнулся брату Сафар и снова продолжал:

— Не отчета от вас хотел спросить я. Я знаю, что честь живет в сердцах ваших. Не только Ахмеджан имя сына моего, но и коммунист, и тебя зовут коммунист, Магзум, и тебя, Рустам...

Может быть, вы больше меня знаете, как и чем нужно жить сейчас, но нет терпенья — видеть беду людей.

— Тяжело, — сдвинув брови, сказал Рустам. — Я сейчас после занятий в школе каждый день бываю в горсовете. Товарищ Еризбек не выходит оттуда ни днем, ни ночью; сотни людей каждый день голодные, раздетые, без крова, больные...

— Да, тяжело, — протянул Карим. — Мне сегодня рассказал сосед, как вчера две русских женщины хоронили отца на кладбище. Были они измученные, усталые, наверное, голодные... Плакала так одна... Помогал он им, деньги давали — не взял...

— Я на-днях был на станции, видел как приехали бледные худые дети с испуганными глазами. Начальник станции говорил, что их бомбили в дороге, были раненые. Детей много, может быть, сотня, может быть, две. Есть совсем маленькие, не больше твоего Карима, Рустам.

Блеснул глазами Сафар.

— Об этом и хочу говорить. Затем и собрал вас. Большое счастье дети в доме. У тебя, Магзум, их шестеро, у тебя, Рустам — один. Наши дети, Азиза, и твои дети, Карим, выросли. Но разве не можем мы дать приют, согреть заботой, воспитать детей, у которых война взяла и отца, и мать, в глазах которых поселила она испуг, в сердце горе.

Заговорили все сразу, шумно, перебивая друг друга: да об этом не думали, спасибо старшему брату и отцу за совет, приказом станет он для каждого.

— Знаете, отец. Я должен завтра уехать. Оставляю Джамилу вам. Пусть не приезжает без сына, — заявил Магзум.

- Почему не погостишь Магзум?

- Э, нет, — засмеялся Магзум, — от вас слышал я поговорку: первый день гость — ах, гость! второй день гость — ну и что же, что гость? а третий день — уходи, недобрый!

- Так разве ты гость? — с ласковым упреком покачал головой Сафар. — С каких пор муж моей дочери стал только гостем в моем доме?

— Знаю, отец. Сам бы рад пожить здесь, послушать ваших бесед — дела не ждут, работы много.

Сафар улыбнулся, подмигнул женщинам:

— А вот Азиза и Шарафат заслушались нас, забыли, как дело кончают и забыли, что гости в доме.

Засуетились женщины. Встал Шарип. Принес воду в узком медном кувшине, медный тазик с двойным дном, чтобы отекала вниз грязная вода и прилично было умыть руки над ним гостю.

Подали плов.

* * *

— Как живешь, Рустам? — раздался над ухом Рустама знакомый приятный голос. Прямо против него остановилась небольшая черная машина. Дверцы машины приоткрылись. Из нее выглянул Еризбек Джурабаев — председатель горсовета. — Садись, дело есть.

Рустам сел в машину, вопросительно поднял глаза на Джурабаева.

— В колхоз Чкалова поедем, туда дней пять как новую партию эвакуированных привезли. Зачем ждать, когда люди просить придут, лучше самим съездить, посмотреть, что для них сделать можно.

Машина тронулась.

Не было человека в городе, который бы не знал Джурабаева. Почти с детских лет горячо бросился он в гущу общественной жизни. Словно выточенное из мрамора, но полное жизни, золотисто-смуглое лицо его не портил даже широкий шрам на лбу, оставленный в свое время басмаческой саблей в горячей и неравной схватке. В то время знал, что три вещи на свете имеют цену: лошадь, сабля и честь. Горячий скакун был у него, в настил шел ндд землей, настигая врага. Вдвойне острее была сабля в твердой его руке. Не запятнанной ни сомнением, ни ошибкой была честь Еризбека: знал, что если дурной человек скажет, что умер — поверь; если же скажет, что злобу свою оставил — не верь.

После тяжелого ранения и демобилизации в 24-м году стал секретарем горкома комсомола.

В первые школы, что открывались в отобранных у баев домах, в каждую снятую паранджу, в привлечение женщин на производство, в ликвидацию неграмотности, в воспитание новых качеств человека — вкладывал всю свою силу и страсть души. Сколько ни делал, видел, что все дальше раздвигались горизонты работы, видел, что бесконечно больше осталось сделать. Жарко горели глаза, все больше хотелось обнять. Возрастало число друзей, число товарищей по работе, плечом к плечу стоял рядом с ним Ахмеджан Сафаров, Шукуров, Алиев. Людей искал жадно, выращивая заботливо

и терпеливо, радуясь успехам, огорчаясь за ошибки, на всю жизнь сохранял с ними связи. Сторожем школы был шестнадцатилетний Рустам, мальчиком при чайхане — брат его Анвар. Заметил, понял жажду знания, таившуюся в подростках, послал учиться грамоте, зажег желание итти вперед. И вот через пятнадцать лет Рустам директор школы, депутат горсовета, а Анвар — воин Красной Армии.

И разве только Анвар, только Рустам? Везде встречает Джурабаев улыбки, почтительный привет, радость людей, которым так или иначе, в какой-то степени помог он в жизни. Он окончил институт, учился в Москве, стал председателем горсовета. Для него не было ни малых, ни больших дел. Никогда не отсылал к заместителю или к секретарю, зная, что в каждой мелочи может крыться зерно большого принципиального вопроса.

С первых дней войны потерял сон, осунулся от напряженной работы, но всегда можно было найти его там, где был он нужнее всего: в одном из городских колхозов, если отставали там с прополкой хлопка; в ткацкой артели, если перекрывал норму один из рабочих и можно было поднять остальных на то, чтобы дали они до конца месяца тысячу лишних метров ткани; в чайхане, если собирались там старики поговорить о жизни и войне; в семье, если было в ней горе или радость.

Машина мчалась в пыльном облаке.

— Нет новостей от Анвара?

— Давно не получал я нисем, товарищ Еризбек.

— Как семья?

— Здоровы.

— А от Ахмгджана есть новости?

— Не пишет и Ахмеджан. В выходной был я на плове у Сафара.

— Жаль, не знал я, пришел бы обязательно. Люблю я тестя твоего, Рустам. Живет в нем хорошее, честное беспокойство за жизнь и ответственность живет. На других не перекладывает дела. Что может, что в силах, сделает сам. Плодами виноградника своего хочет многих накормить, щедрое сердце у дедушки Сафара.

— Да, — удовлетворенно согласился Рустам, сам уважавший и любивший старика. — Знаете, товарищ Еризбек, какое он последнее задание дал каждому члену семьи.

— Интересно, — поднял брови Джурабаев.

— Усыновить по ребенку, воспитать, как сына или дочь. Джамия уже вчера уехала с новым сыном.

Круто повернулся Джурабаев к Рустаму, схватил за руку.

— Был ты в горкоме?

— Нет, — удивленно протянул Рустам, — зачем, разве вызывали меня?

Джурабаев досадливо нахмурился.

— Сам понимаешь, сам должен был пойти. Ну, представь, что не встретил бы я тебя сегодня, ты бы и ко мне не пришел.

— А зачем? — все еще не понимал Рустам.

— А вот Сафар понял. Не сам усыновил, всю семью позвал. На твой вопрос Сафар ответил бы тебе одной из своих поговорок: от одной лошади пыль не поднимается, а если поднимается, то не вызывает разговоров. Пора тебе, Рустам, полнее ощущать себя слугой народа.

Рустам густо покраснел, поняв, о чем идет речь.

— Как думаешь? — перебил сам себя Джурабаев, — сможет Сафар придти сегодня в чайхану стариков, соберем народ, пусть поговорит, поделится мыслями.

— Никогда не откажется он сделать нужное дело, — горячо откликнулся Рустам.

— Понял, что нужное, — засмеялся Джурабаев.

— Понял, — ответил Рустам и огорченно добавил: — Не знаю, как получилось, что не сразу увидел я большие результаты, которые могут вырасти из слов старика.

— Не огорчайся. Кое-кто и более важных вещей не понимает.

Рустам, выжидая, промолчал.

— Недавно об этом много говорил нам товарищ Саттаров.

Джурабаев взглянул в окно, машина круто повернула за угол.

— Приехали. Расскажу на обратном пути.

* * *

Комната за комнатой. Везде одно и то же. Усталый взгляд людей, бледные, худенькие детишки, которые маленькими кусочками откусывают хлеб, держа его над ладонью, чтобы не упала крошка, сухой, надсадный кашель старухи, попытки людей создать подобие уюта — наскучались о нем за дорогу.

Джурабаев переходил от одного к другому, присаживался на чемодан или на подоконник, заговаривал с детьми, со стариками, говорил бодрым тоном, улыбался, делал пометки в записной книжке, но Рустам видел, что все более холодный блеск загорался в его глазах и все более резкая складка набегала на лбу. Сам Рустам давно покусывал губу, сдерживая гнев на все, что бросило людей в такие условия жизни, сдерживая обиду за них.

Проходили коридором. Джурабаев шепнул Рустаму:

— Позови-ка ты мне скорее этого жирного барана, который пять дней людей устроить не может.

Рустам быстро вышел, но председатель колхоза Атаханов, услышав от кого-то о приезде Джурабаева, уже сам спешил к клубу. Джурабаев молча поздоровался с Атахановым.

Он стоял перед молодой женщиной. Его внимание, как только он вошел в комнату, привлекло ее энергичное лицо, смелый блеск глаз, открытая улыбка. Заговорили. Нет, жалоб у нее не было. От кого и что вправе она требовать и кто вообще вправе требовать чего-то сейчас, в эти дни. Только вот самой хочется скорее начать работу. До сих пор не могла заняться поисками. Умер свекор, похоронили, два дня продавали вещи, нужно было рассчитаться с долгами, постирать, обмыться.

— Какую работу вам нужно?

— Учителем могу быть. Да, впрочем, любую, учителей — я слышала — много.

— Образование?

— Высшее.

— Фамилия ваша?

— Бородина.

— Я попрошу вас зайти завтра к 12 ко мне, побеседуем подробнее.

Рустам стоял задумавшись. Вот они следы воины. И помочь нужно каждому. Чем и как помочь? Джурабаев тронул его за плечо.

— О чем задумался? Мы собираемся уходить.

Молча пошел за ними.

Атаханов, кланяясь и прикладывая руку к сердцу, приглашал Джурабаева к себе на плов.

— Зайдем, Рустам, — бросил Джурабаев.

Шел молча, широким шагом, и толстенький Атаханов едва поспевал за ним. По уторопленному шагу Джурабаева, по тому, как отмалчивался он, словно не слушая оправданий Атаханова, Рустам понял, что раздражение не только не улеглось, а еще больше усилилось в нем, подумал: «Не стал бы я приглашать в гости Еризбека, когда у него такое настроение».

Джурабаев принял из рук Атаханова пиалу с чаем, поставил ее на скатерть, резко встал.

— Спасибо, Турсун, за чай, спасибо за плов. Я не буду пить и есть в вашем доме. Я ел сегодня плов и, может быть, опять буду есть, не следовало вам, который кукурузной лепешки не предложил нуждающимся, угощать меня пловом.

Мне стыдно за вас, Турсун, — голос Джурабаева почти гремел, — пять дней люди находятся в вашем колхозе, а что сделали вы для них, кому предложили работу, кого накормили, какого ребенка приласкали, кто из них может вспомнить или назвать ваше имя? Они ехали сюда, слышали от людей о гостеприимном сердце узбека и встретились с вами. Спасибо за плов!

Джурабаев круто шагнул к двери, оставив на скатерти даже не пригубленную пиалу. Рустам шел за ним, стараясь не глядеть на Атаханова — и справедливы были слова Джурабаева, но вместе с тем позором покрыл Джурабаев голову растерявшегося, умолкшего хозяина.

Джурабаев и сам знал это. В дверях повернулся:

— Через пять дней приеду. Если все будет в порядке, готовь плов.

Обрадованный Атаханов бросился вслед: ну, конечно, все будет в порядке, просто закрутился с делами, колхоз сушил лук и помидоры, нехватает людей на резке.

— Вот, возьми ты его, — обратился к Рустаму Джурабаев, — людей на сушке и резке нехватает, а люди под боком.

Эх, и хозяин из вас! — и снова нахмурился. — Стань человеком, станешь и хозяином.

В машине успокоился. Знал, что дошла обида до сердца Атаханова, заставит задуматься. Чувствовал, что, может быть, в эту минуту спрашивает себя Атаханов, как мог он не заметить людей, не заметить их горя.

— Вот увидишь, Рустам, через пять дней исправит дело. Вместе приедем. При тебе я обидел его, при тебе и обиду снять должен.

Помолчал и вдруг, смеясь глазами, заявил:

— А как бы нам с тобой сообразить покушать. Ушел я сегодня из дому чуть ли не до света и позавтракать даже не успел.

В ближайшей чайхане нашли только темные черствые лепешки. Сели в задней комнате.

Рустам, посмеиваясь, крошил лепешки в чай:

— Бедняцкий суп будем кушать. Эх, и хороший плов у Атаханова, наверное, с айвой.

— Молчи, шайтан, — шутливо прикрикнул Джурабаев.

Рустам вышел к чайханщику, вернулся, подбрасывая в руках большой полосатый арбуз. Звонко треснула корка, арбуз развалился на две половины, сверкая и блестя сахаристой сердцевиной.

Джурабаев оживился, с шутливой укоризной начал выговаривать Рустаму:

— Я всегда говорил тебе: хочешь почета — не говори много, хочешь здоровья — не ешь много. Зачем тебе понадобился плов, когда есть такие замечательные арбузы на свете!

— Вы хотели рассказать что-то, — напомнил Рустам.

— Товарищ Саттаров только что вернулся из Москвы, — начал Еризбек.

— Я давно хотел спросить, — перебил Рустам, — не понимаю я, как это можно: война такая, жизнь такая, работа такая, а первого секретаря Обкома ЦК посылает на три месяца в Москву.

— Нет, Рустам, не странно и нужно, — ответил Еризбек. — В том-то и сила наша, что жизнь огромной страны идет своим ходом. И нужно учить людей, нужно строить новые фабрики и заводы, нужно жить и работать, и все это не просто, а отдав основные силы войне. Отдать главные силы войне и не остановить ничего внутри страны. Не только не остановить — двигать дальше, развивать... Так вот, Саттаров вернулся, были мы на бюро, после бюро расходиться не хотелось. Каждому из нас важно было сказать, что сделал за это время. Каждому важно было услышать, как живет Москва. Товарищ Саттаров рассказывал долго, и взволнованно слушали мы. Он проехал всю страну, видел, как идут на фронт эшелоны, видел санитарные поезда, работу на колхозных полях, взорванные врагом заводы и заводы, которые начали работать под открытым небом, а сейчас обросли, корпусами, перевыполняют план. Он был на местах недавних боев под Москвой, там, где родилась будущая победа. Он был в Кремле, Рустам, ты понимаешь, в Кремле... Он видел тысячи людей больших, маленьких. Какой национальности? Разве это важно, Рустам? Бойцов, ученых, колхозников, рабочих. Видел партизан, прилетевших на большую землю и завтра улетающих опять к великой и суровой советской судьбе своей. Он видел простых и твердых людей, которых ведет на подвиг любовь к родине. В госпитале встретился с командиром — он вызвал на себя огонь своих батарей, чтобы не дать пройти вперед врагу; в политшколе — увидел девушку — она обучила и посадила за руль трактора несколько десятков женщин и обеспечила сбор урожая на сотнях гектаров. Он видел Сталина, Рустам... Не тысячи людей видел он — советского человека, человека единой воли, единого дыхания, единой судьбы и чести.

Я слушал его и чувствовал, что в груди моей ширится сердце, большими и строгими становятся мысли. И радостное волнующее чувство овладело мною. Оно зовется чувством ответственности.

Ты пойми, Рустам, ты только вдумайся: встать вровень со временем нашим, вровень с подвигом страны, с великим народом русским, встать вровень!

— Я понимаю, — тихо ответил Рустам.

— Тысячи братьев наших сражаются на фронте, — горячо продолжал Еризбек. — Внутри республики приняли мы эвакуированные фабрики и заводы, колонны тракторов. Мы сохранили их, мы вернем их назад.

Внутри республики приняли мы сотни тысяч людей. Они будут жить между нами, помогут нам и поучат нас многому. Ты знаешь, что у нас еще столько отсталого.

Рустам сделал движение, но Еризбек не дал ему заговорить.

— Национальное и отсталое — разные вещи, Рустам, — медленно сказал он, глубоко заглядывая в глаза Рустама. — Национальное мы сохраним всегда, от отсталого освободимся.

Кое-кто поговаривает сейчас, что нужно меньше, как можно меньше расходовать сил и средств, хочет дать минимум: пусть справляются как знают, приехали и уедут. Слышал ты такие разговоры?

— Слышал, — согласился Рустам, — им, кажется, что приехавшие в какой-то мере обкрадывают нас, уменьшают наши возможности. И знаете, товарищ Еризбек, об этом иногда говорят люди, которые горячо любят свой узбекский народ, болеют душой за каждую осиротевшую узбекскую семью.

— Не так, Рустам, — обдумывая, медленно заговорил Джурабаев, — любить свой народ, горячо любить свой народ — это значит, понимать его пути, а мы прочно и навсегда связали свое настоящее и будущее, всю свою жизнь со старшим братом нашим, русским народом. А любить свой народ иначе — это не народ любить, а китайскую стену вокруг него, халат, в котором он ходит...

Джурабаев задумчиво смотрел через открытое окно; к чайхане подступали колхозные поля, прямые ряды цветущего хлопка, с детства знакомые и родные картины.

— Мы растем, мы вырастаем из вчерашнего дня, из вчерашних мыслей и чувств, — снова повернулся он к Рустаму, — но расти нужно быстро. Ошибаться нельзя. Не такое время сейчас, чтобы можно было ошибаться, останавливаться, отдать себя безразличию.

Действовать! Каждую минуту, каждым нервом, каждым мускулом жить в одном потоке со всей страной.

* * *

Саттаров сидел, наклонившись к самому приемнику, торопливо подкручивал, пытаясь поймать волну, но — что-то мешало, радио хрипело, выскакивали ненужные фразы, отрывки музыкальных мелодий, совсем не то, чего напряженно искало сердце, и вот, наконец:

— От Советского Информбюро...

Еще ближе придвинулся к приемнику, пальцы рук впились в ручки кресла. Взгляд туманился то болью, то гневом. Не заметил, как открылась дверь, и в кабинет заглянул Еризбек. Неслышно ступая по ковру, подошел, придвинул стул и сел рядом. На мгновение оторвавшись, Саттаров перенес взгляд на Еризбека, приветливо кивнул головой и снова впилился в приемник, словно стремясь раздвинуть звук и увидеть за ним величие сталинградской битвы.

Молча подняв загоревшийся взгляд, сидел Саттаров. Словно не выдержав напряжения, встал Еризбек, подошел к окну, внизу у громкоговорителя стояла толпа людей. Кто они? Тысячью каких нитей связан каждый из них с вестью, которую только что прослушали?

Сгорбившись идет по улице женщина с печальным и строгим лицом. Может быть, недавно получена ею весть о гибели сына, и сейчас думает она о тех, кто осиротел после этого боя. Стоят около умолкнувшего репродуктора два раненых бойца. Может быть, работали они на Сталинградском тракторном, а может быть, услышали сейчас имена своих боевых товарищей...

Сжалось сердце нестерпимой болью, но сейчас же взнуздан ее: все равно победим, все равно восстановим. Взглянул на малыша, перебежавшего улицу — тебе или ровесникам твоим придется жить в восстановленном прекрасном советском Сталинграде, там найти свое счастье, стать сильным и нужным стране человеком, впитав традиции города, дважды овеянного славой.

Саттаров снова настраивал приемник, и вдруг в комнату ворвались мощные, гневные звуки: «Пусть ярость благородная...» поворот руки выключил радио, но звуки подхватил репродуктор на улице: «...вскипает как волна, идет война народная, священная война!» Властные, стремительные, они бились в окно, заполнили сердце, росли и ширились, поднимались над сердцем, над городом, над страной.

Слышали их Таня и Наташа, слышал их Рустам. Слышал их Борис. И там, далеко и близко, в городе, где хозяйничал враг, дрожащими пальцами пытались настроить приемник, чтоб под страхом смерти услышать песню, которую во имя жизни пела родина.

Саттаров встал, подошел к карте. Вот она, родная страна, раскинулась до океана необъятными просторами. Вот они два города, протянувшие через века и расстояния друг другу руку, равные в подвиге и славе. Вот они два имени, равные в любви и памяти людей.

С бережной и тревожной лаской положил руку на полотно. Здесь поля, взрытые страшным плугом войны, здесь израненная родная земля. Сел.

— Разве забудешь когда-нибудь каждую минуту этих дней.

— Никогда! — ответил кивком Еризбек.

Зазвонил телефон. Быстро взял трубку:

— Нет, Ганиев, помни одно. Работаешь для фронта. Никаких скидок. Понимаешь, ни-ка-ких. Сейчас позвоню Иванову, чтобы слушали тебя на бюро горкома. Да что ты мне все про электростанцию твердишь. Ты о внутренних возможностях подумай.

Голос Саттарова стал иным, большим волнением звучал он:

— Ты сегодняшнее радио слушал? Так о чем же просишь ты. Люди насмерть стоят. Понимаешь ты это слово «насмерть». Подумай, страна от тебя встречного плана ждет.

Положил трубку. Вопросительно поднял глаза на Еризбека.

— Опять план на маслозаводе под угрозой срыва, — ответил Еризбек. — Прошлый месяц ремонт, сейчас рабочих рук нехватает, три дня электростанция стояла.

— Ты что, — внимательно глядя в лицо Еризбека, спросил Саттаров, — помогаешь Ганиеву объективные причины найти?

Еризбек вздрогнул, нет, никогда не станет он на этот путь. Собственно, и причины-то он назвал, чтобы подумать об их устранении.

— Нет, товарищ Саттаров, — твердо ответил он, — завтра-послезавтра явлюсь с предложениями.

— Ну, а сегодня с каким делом? — улыбнулся Саттаров.

— Сегодня с детдомами. Вам известно, что за последние два месяца в город прибыло семь детских домов.

И потекли дела. Стекло, крупа, стропила для крыши, чулки — все здесь служило одному — сыну воина, будущему строителю жизни.

Нахмурился Саттаров:

— Гороно укрепить надо. Трудно Каримову одному. Поискать бы среди приезжих.

— Я уже нашел, кажется, не ошибся.

— Хорошо!

— Товарищ Саттаров, в городе начато хорошее дело.

Саттаров вопросительно поднял брови. Во все время рассказа Еризбека сидел, припоминая и оценивая. Сафар Азимов? Старый Сафар. Отец Ахмеджана. Как любил всегда Ахмеджана. Большая и дружная семья. Есть люди вчерашнего и сегодняшнего дня, а есть и такие, в которых уже проглядывает наше «завтра». Вот такое «завтра» есть и в семье Сафара. И это не случайно, что к Сафару относятся как к отцу посторонние ему лица. Он живет большой и мудрой жизнью. И не случайно, что сын его Ахмеджан всегда и просто, естественно просто, стоял на самых трудных участках.

- По предложению Сафара Азимова усыновлено в городе восемьдесят шесть детей. Движение растет, — заключил Еризбек.

— Хорошо!

Саттаров сидел с минуту задумавшись.

— Нужно мобилизовать вокруг этого внимание народа, движение народа создать. Газету привлечь, повести работу в квартках.

— Сделано, товарищ Саттаров. Статья уже написана, завтра будет. Сафар выступил в чайхане стариков, работу разворачиваем дальше.

— Правильно. Мы позаботимся о том, чтобы движение охватило районы... Сегодня буду говорить с райкомами.

Снова зазвонил телефон. Снял трубку. Голос секретаря Уйчинского райкома:

— Товарищ Саттаров, колхозники нашего района последовали примеру семьи Азимова. За три дня усыновлено двадцать два ребенка.

— Хорошо, хорошо! Готовьтесь, на-днях устроим переключку районов! Ну, а как с уборкой хлопка? Не забудь, что в прошлом году Уйчинский район первый рапортовал об окончании уборки. Не сдадите первенства? Так. Но учти, на сегодня Тюра-Курган на два с половиной процента впереди.

Повесил трубку. Смеющимися глазами взглянул на Еризбека.

— Расулов звонил, знают о почине старого Сафара, усыновили больше двадцати детей. Подумай, уже знают.

— Кажется, в Уйчах работает зять Сафара Магзум, — откликнулся Еризбек, — Ну, конечно, в Уйчах!

В дверях показалась голова секретаря:

— Вас просит Ташкент, товарищ Саттаров, Цека.

Быстро взял трубку.

— Товарищ Васильев? Привет. Спасибо. Как встречаем эвакуированных? Докладываю...

В доме Магзума и Джамили праздник. На другой день после совета отца была с ним в детском доме. Нужно было торопиться, уже за день соскучилась, но своим ребятишкам: шестеро у нее, все одинаково любимые, привезет к ним седьмого. Сына. У нее, Джамили, будет голубоглазый сын, равное место даст ему в сердце.

Растерянно переводила глаза с одного ребенка на другого.

— Смотри, Джамили, — потянул ее за руку Сафар, — на Ахмеджана мальчик похож.

Оглянулась, в углу на коврик сидел малыш лет пяти. Ничего особенного не было в нем, и как мог походить он, худенький и светлый, на черноглазого, быстрого Ахмеджана. Но чем дольше смотрела Джамили, тем яснее проступал перед Ней облик брата. Она сама не знала, в чем было это сходство. Может быть, в выражении упрямо и твердо сомкнутых губ, может быть, во взгляде, быстром и умном.

Движимая внезапно охватившим ее волнением, присела перед мальчиком, заговорила с ним, называла его десятком ласковых имен, звала стать сыном. Мальчик, недоумевая, смотрел на нее, ничего не схватывал в потоке непонятных слов, но не отстранялся от ласки мягких маленьких рук Джамили. Прижала к себе. Мальчик ощутил прикосновение шелка, горячих губ и вдруг, отдавшись ласке, забытой уже много дней; ответно прижался к ней, тревожно и коротко вздохнул. Горячо заставил забиться сердце Джамили недетски печальный вздох ребенка. Встала, подняв ребенка на руки, говорила ему о большом саде, о братьях и сестрах, о своем сердце, уже полным любви к Нему, тихонько и ласково покачивала на руках.

Мальчику казалось, что не говорит женщина, поет над ним горячую ласковую песню.

Снова, присела вместе с мальчиком, взяла из рук Сафара шелковый платок, развязала его, достала яблоки, изюм, орехи. Мальчик, затаив дыхание, смотрел на них, но не слышал знакомого слова «возьми», хотя взгляд женщины приглашал его. Наконец, не выдержал, тихонько прошептал:

— Можно?

И опять непонятное отвечает она и вдруг кивает и сама начинает рассовывать ему сласти по карманам, в руки, в подол рубашонки.

Высокий старик присаживается на корточки перед ним, смотрит туманным, приветливым взглядом, кладет ему на голову большую руку и тоже говорит что-то непонятное, но ласковое.

Подходит Мария Ивановна — директор детского дома.

- Вася, — склоняется она к мальчику, — тетя Джамили зовет тебя в гости. У них большой сад, у нее маленькие детишки, с которыми ты будешь играть. Тетя Джамили будет любить тебя.

Мальчик бросает взгляд на женщину. Не понимая ни слова, она сидит, утвердительно кивая головой, устремив на мальчика взгляд зовущих красивых глаз, и мальчик верит этим глазам, этой улыбке, теплу рук.

— Я через несколько дней приду к тебе. Если тебе не понравится там, ты вернешься сюда, а если понравится - останешься. Согласен? Да?

Мальчик встает, уже готовый ответить согласием, но вдруг тухнет взгляд, тревожным взглядом отвечает ему Джамили, взволнованно чувствуя горькую мысль, сжавшую сердце мальчика.

— А мама? — тихо спрашивает мальчик.

— Да что же ты, Вася, — торопливо отвечает Мария Ивановна, стремясь рассеять грусть ребенка. — Ведь ты же сам знаешь, что мама придет к тебе, может быть, очень скоро придет. Ну разве может мама не придти, — убедительно заканчивает она, — подумай ты сам.

Да, Вася знает, что не может не придти, во сне сна часто вместе с ним, стоит только руку протянуть к ней.

— Мама будет рада, — продолжает Мария Ивановна, — что ты у тети Джамили. Тебе там будет веселее и лучше. Ты будешь кушать яблоки, тебя повезут кататься на маленьком ослике.

Глаза мальчика загораются, потом он вспоминает, что мама учила быть вежливым, а он уже столько разговаривает с женщиной, принял от нее подарки, а даже не поздоровался с ней.

Он доверчиво вкладывает ручонку в руку Джамиле, отвечающей ему горячим пожатием и поцелуем.

— Нина Васильевна, — окликает Мария Ивановна воспитательницу, — надо переодеть Васю Андреева и выдать ему справку.

Но Сафар развязывает второй узелок, достает черные лакированные сапожки, настоящие сапожки с каблучком, легкие и блестящие, достает красную бархатную тюбетейку, шелковый халат. Мальчика одевают. Он растерянно и счастливо оглядывает новые сапожки, кушак, к которому

прикреплен маленький нож-кинжал, с расцветенной перламутром ручкой, в кожаных черных ножнах.

Сдерживая дыхание, оглядывает себя мальчик, а вокруг толпятся другие ребяташки, удивляясь, завидуя, радуясь.

Целый день бегают мальчик по большому саду, прячется в зарослях кукурузы, набрасываясь с ножом на невидимого врага, играет с Каримом и Шарипом, которые называют его Ахмеджан.

Засыпая мальчик рано, утомленный прожитым днем, закрывшись цветным шелковым одеялом, засыпая видит над головой в просветы между черными виноградными листьями далекие звезды, слышит журчанье арыка около кровати и чужие и уже близкие голоса, которые часто называют имя «Ахмеджан».

Во сне Вася снова видит маму. Мама тоже называет его «Ахмеджан», а кроме ножика у него есть еще ружье и серый длинноухий осленок с покорной и кроткой мордой.

Утром долго едут на высокой арбе по мощеной дороге, солнце начинает припекать, хочется пить, но Джамиля дает ему гранату и, занятый ею, доезжает Вася до нового дома.

В нем нет стола и кровати, пол во всех комнатах застлан коврами, а в нишах стоят горящие, как жар, сундуки, лежат одно на одном шелковые одеяла, и на полка чайники, блюда, пиалы.

В нем встречает их веселый высокий чернобородый мужчина, радостный визг и крики нескольких ребяташек.

— Деда, — показывает на него Джамиля, и Васю очень удивляет, что он такой молодой и совершенно не седой называется дедом, но пусть, если так, значит так. Ведь Вася не знал, что «деда» по-узбекски значит «отец».

Чернобородый мужчина смеется звонко, и радостно, хлопает Васю по плечу.

— Здравствуй, малыш! Здравствуй, сынок. — И подхватив Васю, подбрасывает к потолку, а у ног его кричат и смеются быстроглазые, круглощечные ребяташки. Который из них Мамат, который Абид, кто Максуд, Турсунхон, Салима, Сарахон — Вася уже перепутал.

Они подхватывают Васю за руки и все вместе цветной звонкой стайкой бегут по саду, залитому солнцем.

* * *

Уже месяц работает Таня в Гороно. Трудно разобраться во всем, что окружает ее. Много удивительного, много необычного, а в целом новый мир перед ней, требующий горячей деятельности.

Сначала воспринимает его только внешне, в цветной пестроте его и через рассказы окружающих.

Таня знакомится с учительницей русского языка в узбекской школе Рубакиной.

— Как я устала здесь, как измучилась, как скорее хочется домой, — говорит та.

Таня понимает ее. Черными, обгорелыми остовами домов встретит родной край, но не жаль ни на минуту будет покинуть цветущие сады.

— Вы знаете, я была одной из лучших учительниц города, меня ежегодно премировали, мой авторитет... — сыплет Рубакина.

Таня чуть улыбается в душе, но все-таки, несмотря на это наивное хвастовство, Рубакина может оказаться отличным работником. Тем лучше, сейчас ей именно важно найти таких учителей.

Она приходит в школу, где работает Рубакина.

— Разрешите присутствовать у вас на уроке?

— Пожалуйста.

— Можно взглянуть на ваш конспект?

— Конспекта у меня нет, — вспыхивает та.

— Почему же? — удивляется Таня.

— Да, знаете, — доверительно и быстро шепчет Рубакина, — ведь здесь же не школа. Ой, вы совсем, совсем не представляете здешних условий. Ну, кому нужен мой план, мой конспект. Вот в Днепропетровске у меня...

Последние слова заставляют Таню изменить свое первоначальное решение и все-таки допустить Рубакину к уроку, чтобы иметь возможность присутствовать на нем.

Весь урок Тане стыдно, страшно стыдно перед детьми. Рубакина стоит перед классом. Ей нечего, совершенно нечего сказать. Тане кажется, что она жует какую-то длиннейшую серую

мочалу, и нет возможности даже ухватиться за конёв этой мочалы. Слова живые, огненные, упругие, звонкие, вы разительные, за которыми стоит все богатство жизни, — становятся в устах Рубакиной серыми, как паутина, хилыми, совершенно пустыми, и пуст ее голос, никакого выражения нет в нем, и пустыми глазами смотрит она на ученика, и пусто, совершенно очевидно, что пусто ее сердце.

Наконец, долгожданный звонок. В учительской у окна, понизив до шопота голос, — так стыдно перед другими учителями школы за, бездушные Рубакиной, — говорит ей:

— Я не верю вам, что были вы хорошей учительницей в Днепропетровске. У хорошего учителя одна честь и в Москве, и на Камчатке, а у вас не нашлось даже желанья почувствовать себя здесь представителем русской культуры...

Учителя-узбеки не приходят. Просто не приходят. Они приветливо улыбаются ей, здороваются, спрашивают, где Каримов, и идут только к нему.

Зав. горно Каримов понимает многое очень упрощенно. В один из первых дней вызвал Таню, заволновался, что нет сводки по школам о сборе хлопка и потребовал сводки немедленно. Таня ответила, что только к вечеру сумеет собрать сведения по школам, а с завтрашнего дня предложит им ежедневно давать эти сводки. Каримов был очень изумлен: «Зачем идти по школам, напишите там что-нибудь».

Возразила достаточно твердо. Каримов проводил ее внимательным взглядом. У Каримова правильные черты лица, немного надменные губы. Держится он товарищески. Рябинки совсем не заметны на его лице и не портят его. Одет он по-русски и всегда со вкусом, очень аккуратно. Ровный, с приветливой улыбкой, немного ленивый и недостаточно знакомый с работой. Но здесь у него есть большое достоинство: он не стесняется показать незнание, очень быстро схватывает хорошее, правильно оценивает его. Без всякого зазнайства с первых же дней начал советоваться с Таней по большим и маленьким вопросам. Выслушав ответ, молчал две — три минуты, а потом задавал новый вопрос. Таню вначале очень изумили эти минуты молчания, но потом она поняла в чем дело: Каримов просто делал перевод ее ответа на родной язык. Говорить с ним трудно. Он еще очень плохо знает русский язык и первые дни Таню буквально ошеломляли его каракули: «т. Брудно к исполни», что означало: «т. Бородиной. К исполнению». Но потом и здесь в его упорстве, с которым он старался говорить и писать по-русски, Таня начала различать человека, который жадно хочет учиться. Часто из-за двери его кабинета раздавался запинаящийся медленный голос. Таня знала, что Каримов один и по складам читает русскую газету. Если входила в это время с каким-нибудь делом, встречал ее смущенной улыбкой.. Таня посоветовала ему читать официальный материал, помещавшийся одновременно и в русской и в узбекской газетах, радостно схватился за эту мысль.

Иногда лень охватывала его. Очень много беспокойства с этими людьми, куда-то торопятся, чего-то требуют. Волнуются. Лежать бы сейчас в саду, пока дремота не начнет смыкать глаз. Поднимая телефонную трубку, опускал ее сейчас же с милой улыбкой: «Такие голоса нам не нужны», — не зная даже, насколько серьезно дело, о котором хотели с ним говорить.

Он приветливо встретил храброе танино желание пойти в узбекские школы с проверкой.

Но посещение первой же школы только расстроило Таню. Старших классов не было — они на хлопке, — а младшие ребята оказались непередаваемо пестрыми, шумными, смеющимися. Таня только сверху могла воспринять урок, ей показалось, что речь идет не о знаниях все старания учителя сводятся к тому, чтобы продержат шумную и пеструю толпу детей в более или менее спокойном состоянии сорок пять минут.

В школе оказался минимум того, что должно быть в школе: расписание уроков, где Таня видела непонятные ей слова: «табиёт» и «онатили» (вечером именно с этих слов начала она учить узбекский) и расписание звонков, план школы помещался на двух тетрадных листочках, держала его в руках, не понимая ни строчки, тоскливо глядела на русские буквы, которыми был написан план. Только «г» почему-то было перечеркнуто посередине, а у некоторых «к» появился хвостик, словно у «ц». И такими же тоскливыми глазами смотрел на Таню директор школы, не понимая, чего она хочет, пока спасительный выход не представился ему: «Кончили проверять, чай пить пошли».

Дела, большие и маленькие, обступали плотной стеной, требовали немедленного и активного вмешательства. От незнания и неумения своего подойти сразу вплотную к разрешению их — сердилась сама на себя.

Да, своеобразия много, его нужно понять, как можно быстрее понять. Тогда можно будет устранять ненужное, лишнее, отсталое, а такое есть — Таня видела это. Тогда можно будет

ухватиться за необходимое, за лучшее, а что такое есть — чувствовала всем сердцем. Слова, которые когда-то плотно закрепились в мозгу четкой формулировкой, были поняты умом, но не прочувствованы сердцем, о культуре, социалистической по содержанию и национальной по форме, жили сейчас иной, активной жизнью. Острота их ежедневно, ежечасно пробовалась фактами и, увидев только часть, Таня знала, что есть и все остальное, только она сама еще не знает и не может различить и понять это остальное во всем пестром и непонятном окружавшем ее.

Поэтому резко взяла курс на общение с узбекскими школами и учителями-узбеками. Не шли к ней — шла сама. В школе отказалась от проверки, актов не составляла, а если нужно было, садилась рядом с учителем или завучем школы и выполняла работу сама.

Но чем дальше дни, тем яснее видела, что первые впечатления были ошибочными — просто в первый раз попала она в одну из худших школ. В школе шла большая и напряженная работа, только, может быть, условия были более трудными, чем в школах родного края, а отсюда и усилий требовали больше.

По дороге домой оценивала прошедший день, а потом мысли незаметно переходили к Борису. Радовалась, если чувствовала, что слова и поступки ее могли быть одобрены Борисом, разговаривала с ним, как всегда в разлуке, иногда пыталась припомнить его разным, всегда любимым, за столом, за работой, за книгой. Но отступали эти образы куда-то далеко и чаще всего и ярче всего виделся он ей в последний день. Высокий, подтянутый, по-новому серьезный, в строгой и родной форме воина. Он держал Таню за руки, старался говорить спокойно, а взгляд серых серьезных глаз словно вбирал ее образ, чтобы унести с собой в холод, в ночь, в войну. А рядом, и справа, и слева, и сзади пожатия рук, шелест тихих голосов, глаза такие любимые, такая родная улыбка. «Любимый мой... верю... думай обо мне... Если дойдет до последней мысли, то и последняя мысль... Не говори так... верю... Мало любил я тебя, а ведь мы были счастливы» по-настоящему счастливы... И будем...»

И вдруг свисток паровоза. Все пришло в движение. Борис, оторвавшись от объятий, побежал к вагону. Вот еще он здесь, ее муж, отец ее дочери, Борис. Вот он вспрыгивает на подножку, повиснув на руке, на минуту теряет ее из виду в толпе, тревожно ищет глазами, находит, снова взгляд через расстояние соединяет их. Но уже трогается поезд. Борис кричит что-то. Что, она не слышит, но знает. «Жду... верю... родной...».

И молча стоит Таня, проводив любимого в ночь, в дождь, в войну. И рядом с ней стоят другие, русские женщины, жены-солдатки. И не унес поезд, не скрыла тьма для каждой из них образ любимого. Он в сердце, он рядом. И когда она будет склоняться, связывать снопы в поле, и когда терпеливо будет следить за блестящей серебряной стружкой из-под резка, и когда будет ласкать ребенка, он здесь, с нею. И там, когда будет он ползти, стискивая зубы от напряжения, снежным выюжливим полем, с ним будет она, с ним, охраняя от усталости, от ран, от смерти. Борис! Я знала тебя веселым ребенком, товарищем детских лет, я знала тебя юношей, полным сдержанного огня, я знала тебя зрелым, внимательным и чутким, умным и требовательным, я знала тебя другом, мужем, отцом. Теперь я должна узнать тебя воином, защищающим отчизну, нашу прекрасную, нашу любимую. Я была для тебя верной подругой, женой, матерью твоего ребенка. Я должна стать женой воина, достойной бранных трудов его, обрести новые душевные качества. До свидания, Борис! Мы встретимся новыми, сильными, счастливыми, гордыми. Мы победим, ибо жизнь побеждает смерть, ибо любовь побеждает небытие...

А писем все не было. Одно за другим слала емуг хоть бы скорее дошли ее письма, успокоили, сказали, где найти их. Представляла себе блиндаж, свет коптилки. Борис торопливо дописывает последние строчки, складывает письмо треугольником, химическим карандашом пишет адрес: «Узбекистан...».

День идет за днем, и все нет этих маленьких треугольных писем, собравших в себе всю нежность солдата. Нет, но будут. Не сегодня-завтра будут. Таня редко говорит с Наташей о Борисе. Говорит только в те минуты, когда Наташа сама начинает разговор. Не равна доля их. И если Таня может еще волноваться, ждать, верить, то для Наташи нет даже этого тревожного счастья — пусть и стоит оно на самой границе с горем, отделенное от него едва заметной чертой.

И все-таки, несмотря на все пережитое, Наташа возвращается к жизни. Таня думала, что смерть Сергея Фомича окончательно подавит ее. Но оказалось, что новый удар сделал ее как-то более мужественной, заставил жить, стиснув зубы.

"Новая работа еще больше помогла ей. Наташу послали в детский дом. Таня на минуту задумалась перед тем, как просить Каримова подписать назначение: не будет ли тяжело Наташе

жить, окруженной детьми. Нет, именно туда нужно было послать ее. Пережив потерю сына, могла она, должна она окружить заботой других детей. И Таня оказалась права.

Первые дни в детском доме были для Наташи просто мучительными. Дети не смеялись и не играли. Равнодушным взглядом отвечали на все. Она следила за уборкой кроватей, завтраком, отправлением в школу, подготовкой уроков, а сердце жгла мысль: «Зачем все это? Им нужно здоровье, нужна семья. Что можно сделать здесь в полупустых комнатах для детей, которые потеряли радость?».

Однажды дежурила ночью. В изоляторе лежала больная девочка. Наташа наклонилась к ней. Она спала под холодным хлопчатобумажным одеялом, сложенным вдвое. Выражение лица ребенка было почти скорбным. Вдруг девочка сильно и коротко всхлипнула во сне. Все тельце ее передернулось: «Мама!» — прошептала она и столько в ее голосе было тоски и ожидания, что Наташу словно ударило в сердце. Девочка заговорила что-то быстро, волнуясь и вдруг затихла.

Все спокойнее становилось лицо ребенка, улыбка появилась на губах. Мама, родная мама, верно, ты была с ней в эту минуту. Хоть ночью, хоть во сне не уходи от нее, как ушла ты из жизни!

И мучительно стыдно стало Наташе. Вошла в канцелярию, быстро сняла со стены пальто, вернулась, укрыла им больную девочку.

Не прилегла в эту ночь. Думала, как детство снова сделать детством, искала слова, чтобы отступило, потеснилось горе. И вдруг поняла, что там, вдали кто-то другой, может быть, тоже переживший большое горе, будет работать, чтобы радостнее жилось ее сыну, ибо радость есть и большая, и маленькая, и можно дать сначала маленькую радость, а потом выращивать ее. И если даже потеряны отец, мать, семья у ребенка, то есть у него Родина, есть товарищи, ждут его большие богатства жизни.

Утром в спальне раздался звонкий голос, какого не слышали дети:

— Вставайте, вставайте, скорее!

Слова были те же, что говорились каждое утро, но тог другой, он обещал что-то веселое, простое, хорошее.

— Смотрите-ка, солнышко-то как светит.

И приподнявшись на кроватях, увидели дети, что солнышко лезло во все окна, заливало улицу, звало скорее стряхнуть сон.

— А ты, Андрейка, не хочешь вставать? Берегись, сейчас тебя солнышко догонит.

И побежал по одеялу маленький солнечный зайчик, прыгая, танцуя, добрался до андрейкиного лица, заставил прижмуриться, перепрыгнул на стенку. Бросился за ним Андрейка, но зайчик пошел прыгать с кровати на кровать и исчез.

— А ну, ребята, раз-два-три! Встали!

Через минуту звонкий голос звал со двора:

— На зарядку стано-о-вись!

А когда ребята побежали умываться, Наташа в кабинете директора просила:

— Ну что же, что скатертей нет, Марья Ивановна. Хоть простыни новые дайте. Не зальют, следить буду.

Быстро наломала букет желтых и красных осенних веток, поставила в банке на столе.

Каша была та же самая. Овсяная, слегка подгоревшая. Ее было немного. И все-таки словно румяней стали ребятишки, сидя за этим приздничным столом.

— Справились с завтраком? Молодцы. Ну, а теперь в школу, — остановилась, задумалась и вдруг предложила, таинственно подмигнув ребятам: — А Что, ребята, если мы в школу строем пойдем и с песней, а?

Со всей былой, проснувшейся новой силой, страстно бросились в работу: нужно было, чтобы не пригорела у повара каша, чтобы не пропадал из детского пайка ни один грамм масла или повидла, чтобы Зина и Тамара перешли платья, сидевшие на них мешком, чтобы тетрадь Игоря не была залита чернилами, чтобы перед ужином, сбившись в плотный кружок вокруг нее, слушали дети сказку:

— Пронесся как-то по дремучему лесу слух...

И прижавшись к плечу ее, сидит Соня, искрятся глазенки Гриши и Турсуна, улыбается маленькая Олюнька, крепко держит ее за руку худенькими перепачканными пальцами Петя.

Мальчик мой, Василек! Кто улыбается тебе, кто заботится о тебе? Чьей ласке отвечаешь ты улыбкой?

Когда Каримов предложил Наташе перейти на работу методистом педкабинета, она сразу и решительно отказалась: нет, она ни за что не оставит детский дом, она привыкла к детям, дети полюбили ее, она чувствует, что нужна им.

Но Каримов был готов к такому ответу: штат Горно очень маленький. Каждый должен делать несколько дел, точнее — все, что нужно. Инспектора по детским домам нет. Именно потому, что она любит детей, он и зовет ее. Она будет методистом, и ей одновременно поручат детские дома. Здесь нужен честный и чуткий человек.

Она заботится о тридцати, он зовет ее заботиться о полутора тысячах.

Ответить отказом становилось трудным. Требовали отказа Соня, Тамара, Гриша, Турсун и остальные двадцать шесть, уже такие родные, такие любимые. Они развертывались на глазах всеми качествами прекрасной детской души и знала, что ее рука вызывает эти качества к жизни, шлифует, оттачивает, пробуждает.

Каримов тоже помолчал, дал время подумать, потом рассказал о семье Сафара, усыновившей пятерых детей, о необходимости контролировать жизнь детей, отданных в новые семьи, потому что не просто это и заключается не только в первом праздничном дне, когда говорило, может быть, только увлечение, а в терпеливых будничных отношениях, построенных на любви и понимании.

Каримов не стал просить согласия Наташи, он просто спросил ее, когда она сможет приступить к работе.

— Я хочу передать группу только хорошему человеку,— тихо ответила Наташа.

Каримов наклонил голову, соглашаясь, улыбнулся.

— Вы сами будете следить, чтобы бездушному человеку не было места среди детей.

С головой погрузилась Наташа в работу, словно наверстывая за дни и часы своей душевной неподвижности. Тане стало гораздо легче, потому что в Наташе нашла полное понимание и сочувствие своим мыслям.

Живая и инициативная Наташа с первых же дней вызвала симпатии окружающих.

Наташа быстро начала разговаривать по-узбекски, пользуясь сначала десятком, потом двумя десятками слов, ошибалась, но не смущаясь продолжала дальше, вызывая большое удовольствие учителей-узбеков.

Понемногу начали намечаться расположение, уважение, дружба.

В конце ноября Каримов вызвал Таню и передал ей, что ее, Наташу, и весь коллектив приглашает к себе директор школы № 20 Камалов.

О нем Таня уже слышала много, но встречаться не приходилось. До недавних дней он вместе со старшими учащимися был на сельскохозяйственных работах, а приехав, не заходил еще в Горно, видимо, занятый делами по школе.

Даже на совещание директоров явился не он, а завуч школы. Слышала, что Камалов деловой человек, депутат горсовета, работает много лет в одной школе.

Тане хотелось повидать Камалова, но смутило, что приглашение передано через вторые руки.

Пошли часа в два. Солнечный день глубокой осени, шелестят листья под ногами, прямой стрелой уходят в голубую даль аллеи — это «Янги-Юл» — новая дорога. Идти далеко. Наташа сегодня весела. Она смеется. Столько дней не слышала Таня ее смеха, не видела блеска глаз, так хорошо сейчас видеть Наташу праздничной и спокойной.

Свернули в узкую извилистую улочку, где царило оживление. Бегали ребятишки. Навстречу шли седобородые старики.

Серая, высокая, глухая стена дома, открытая настежь калитка, около нее живописная оживленная группа узбеков. Навстречу шагнул молодой узбек. Живые веселые глаза взглянули прямо и открыто, ослепительная улыбка, крепкое пожатие небольшой, но сильной руки — так вот он какой Камалов.

Чуть коверкая слова, путая род и число, но не смущаясь этим, повел во двор. Облетевший сад, в саду под деревьями накрыты столы.

Наташе все казалось значительным, интересным. Но главное, к чему приковывалось внимание, был сам хозяин. Он был везде и чувствовался каждую минуту. Его ладная сильная фигура мелькала то у ворот, встречая новых гостей, то около дома, то в саду. Поражала его молодость. Свежее лицо, освещенное приветливой улыбкой, казалось совсем юным. Ему должно быть не меньше тридцати-тридцати двух лет, но ему можно дать и двадцать.

Он выбрал время и подсел к Тане. Ни на минуту не переставая двигаться, то раскалывая одним нажимом орехи, то разламывая лепешки, то наливая чай, он рассказывал о школе, обращаясь к Тане:

— В моей школе вы еще не были. Нехорошо. Я ждал. Каримов каждый день о вас говорит. Очень доволен. Я рад, что встретил вас сегодня.

Ограниченный запас слов мешал ему выразить мысль, но это искупалось богатством интонаций, выразительностью жеста, искренностью улыбки.

— А где же ваш брат, товарищ Камалов, — спросила Таня.

— Сейчас будет. К Каримову пошел. Придет — познакомлю.

Но когда Анвар вошел во двор, то узнали его сами. Его нельзя было не узнать. Та же легкая, чуть покачивающаяся походка, те же черты лица. Только был он стройней и выше Рустама. Кавалерийская длинная шинель, гимнастерка с белым краешком воротничка.

Он приветливо поздоровался с Таней и Наташей, сел рядом. По горделивому взгляду Рустама было видно, что крепко любит он брата. Анвар объяснялся по-русски совершенно свободно. Живой и умный блеск глаз говорил о том, что внутренняя жизнь его богата и интересна. И скоро Таня и Наташа забыли обо всем, слушая его. Он сражался под Москвой. Там, где сражался и там, где погиб Андрей. Он говорил, а в глазах стояла искристая снежная пыль, красные огни шрапнельных разрывов, цветная строчка трассирующей пули, зудящий звук вражеских самолетов, грохот артиллерии. И люди... У карты... У орудий... В окопах... Люди в боевом строю, люди в одиночестве разведки. Сила в смертный час и сила в час победы.

— А вы в боях под Москвой и ранены были? — тихо спросила Наташа.

— Уже после. В разведке был. Задание выполнил, но вот, — показал он на перевязанную кисть руки. Заметив взволнованный взгляд Наташи, коротко усмехнулся:

— Впрочем, ничего особенного героического я не сделал и рассказывать-то, пожалуй, нечего.

— Как нечего, — возмутился Рустам, — немцев бил, пленных брал, в разведку ходил, товарища спасал, орудия спасал, орден получил.

Только сейчас заметили Таня и Наташа блестящий на груди под растегнутой шинелью орден.

Анвар бережно поправил орден. Глаза его сузились, стали сосредоточенными, словно какое-то воспоминание большое и захватывающее встало перед ним. Повернулся к Наташе.

— Я лучше вам другое расскажу. О нашем командире. Как брат был он мне. Андреем его звали.

— Егоров? — вырвалось у Наташи, она схватила Анвара за руку.

— Нет, — удивленно поднял Анвар глаза, — Андрей Огнев...

Наташа отвела глаза. Только бы не заплакать. Таня ласково обняла ее, тихо сказала Анвару:

— Мужа ее Андреем звали. Под Москвой погиб.

Не отрываясь, смотрел Анвар на Наташу. Печальное и трогательное раздумье было в тонких чертах ее лица. Вот такой бы представил себе Зухру Анвар, тоскующую о Тахире. Но что общего в черном пламене глаз той и нежной голубизне глаз этой? И все-таки Зухра. Та, кто в скорби, та, которую хочется пожалеть, для которой даже на безводной почве пустыни хочется вырастить цветок радости. Вырастить и отдать. И увидеть, как в глазах ее рождается радость. А может быть, больше, может быть, любовь рождается в них. На ей нужно помочь сейчас. Сейчас отвлечь от тяжелых мыслей. Словно не замечая ее волнения, торопливо заговорил:

— Много есть о чем рассказать. Такая жизнь стала. Судьба каждого человека как книга. На фронте он или в тылу, но все лучшее собирает в себе, жизни отдает.

— А вы, товарищ Камалов, что сейчас собираетесь делать, — обрадовалась возможности перевести разговор Таня.

— В школу пойду. Ехал назад долго. До этого только иногда вставала в мыслях школа, ученики. А вот на обратном пути почувствовал как соскучился о них.

— Отдыхать надо, — перебил его Рустам.

— Некогда отдыхать, — твердо ответил Анвар. — Мне кажется только теперь понял я всю красоту, всю необходимость нашего труда. Воспитать человека. Сделать так, чтобы вне мыслей об отчизне не было у него других мыслей. Сделать так, чтобы, когда потребуется, все лучшее сумел собрать в себе, спокойно и без жеста отдать, ничего не требуя, ничего не ожидая взамен, ни памяти, ни слова, просто потому, что иначе нельзя, иначе не может, потому, что это внутреннее требование его.

И не только в школе работать, с народом нашим работать, чтобы скорее идти вперед.

— Вот это правда, — горячо поддержала его Наташа.— В мире есть книги Ленина, полотна Левитана, стихи Пушкина, они должны стать достоянием каждого. И правильно, что вы решаете вопрос, как помочь жить другим, найти себя.

Анвар забыл, что нужно ответить, вторая жизнь шла в мыслях: вот и другой она стала, Зухра, горячее, стремительной...

Наташа подняла глаза, хотела улыбнуться Анвару и вдруг остановилась. Глаза Анвара были такими теплыми, искрящимися, обнимающими лаской, какую не мог и не должен был выразить взгляд незнакомого человека.

Наташа опустила голову, слегка нахмурилась: кто дал право смотреть на нее с таким откровенным восхищением. И вдруг кровь мягко ударила в сердце, словно значительнее стало все после этого взгляда Анвара.

Рустам встал. Началось оживление, появились дымящиеся блюда с пловом.

После плова нужно было уходить.

Когда остались одни, Наташа некоторое время шла молча, а потом обернулась к Тане:

— Ты заметила, какие у него глаза, — живые, сияющие.

— У кого? — удивилась Таня.

— У Анвара Камалова.

* * *

Через пару дней Наташа увидела Анвара в Гороно. Он сидел перед Таней и о чем-то беседовал с ней.

— Знакомьтесь, товарищ Камалов, — представила его Таня. Анвар радостно поднялся, крепко пожал руку.

— Мы знакомы, — улыбаясь, сказала Наташа.

— Нет, не знакомы, — и Таня торжественно заявила: — Товарищ Камалов, директор средней школы номер пять имени Тельмана.

— Значит, не отдыхая? — приветливо спросила Наташа.

— Да. Только одно плохо, директором назначают, я учителем хотел бы работать. Только дети, и никаких тебе веников, тряпок. Да и кроме того, директор должен принимать школу не позже июля. Тогда хозяин, тогда ответчик. Подготовить к зиме, как игрушечку, подобрать кадры... В августе принять — уже целый год руками разводить. А в ноябре принять... — Анвар не кончил и махнул рукой.

— Мрачно вы настроены, — протянула Наташа.

Анвар откинулся на спинку стула:

— Своего рода военная хитрость, страховка, — засмеялся он. — Нет, конечно, и сейчас буду работать в полную меру сил. Да, кстати, Татьяна Васильевна, — он вынул из кармана гимнастерки список, — вот на этих лиц хочу получить назначение. Согласие их имею.

— Когда вы успели получить его, — удивилась Таня, пробегая список.—«Закиров, Пулатов, Шамсиев»—ну, это все пятая школа. «К переводу в другие школы — Шокирова, Кохоров» — можно. «К переводу в пятую школу». Ну, ну, посмотрим. «Зияев, Юнусов, Шарипов». Подождите, подождите, товарищ Камалов. Это уже нехорошо договариваться за спиной Гороно с лучшими учителями города.

Анвар, чуть склонив голову, с искоркой хитрецы слушал Таню.

— Татьяна Васильевна, я вам обоюдно приятный договор предлагаю. Вы меня в работе еще не знаете — я это без хвастовства говорю — пять лет меня здесь не было. До этого школа лучшей в городе была. Потом в Москве три года учился, воевал полтора года. Это десяти лет жизни и учебы стоит. Потом почти полгода в госпитале лежал, думал, в жизнь и работу рвался. Сейчас, кажется мне, любое дело сделать могу.

Таня сидела задумавшись. Потом улыбнулась.

— Вы непоследовательны, Камалов. Вы хотите дела, работы и одновременно хотите получить готовый коллектив.

— Ошибаетесь, я последователен. Зияев — заслуженный учитель республики, Юнусов — десять лет стажа, инвалид Отечественной войны, Саттаров и Шарипов — хоть и без большого стажа, но задору много, комсомольской инициативы, — хорошо знаю, у меня учились. Закиров, Ильенко — золотой народ. Я к ним в придачу — тоже стаж есть, опыт есть. Но каждый в отдельности хорош.

Все вместе еще не коллектив. Ни общих целей, ни единых требований, а коллектив создается в труде. Так?

— Так, — протянула Таня.

Наташа с удовольствием слушала Камалова: много энергии должно было стоять за его горячими словами, быстрыми движениями, блеском глаз.

— Я не могу собрать у себя только лучших. В нашем коллективе есть молодежь, люди без опыта, их четверо. Дайте еще одного, двух. Учить будем — выучим. Любых давайте, не откажусь.

— Пожалуй, придется с вами наполовину согласиться.

— Нет, наполовину не надо. Мирюсь только на полном согласии.

— А так не могу. Много замен в году — слишком большая ломка для школы.

Они вышли.

Вернулась от Каримова, видимо, поладив. Таня села за приказ, а Камалов бродил по комнате, просматривая выставку, альбомы вырезок.

— Вот это мне и нужно! — воскликнул Камалов, останавливаясь перед списком «О школе в периодической печати».

— Вы знаете, — подошел он к Наташе и сел около нее, — я ведь отстал от школьной жизни за это время. Сейчас поработать надо, почитать. Придется вам мне помочь, — он вынул блокнот. — Ну-ка, рассказывайте о главном, что прочесть нужно, чтобы на первых порах хоть в курсе дела быть.

Дело у Камалова закрутилось. Недели через две он принес в Гороно решение махиллинского актива. Таня посмотрела его, нашла хорошим и собралась положить в папку, где лежали другие, не менее хорошие решения активов, но Камалов остановил ее:

— Через десять дней прошу проверить.

— Хорошо, — удовлетворенно сказала Таня, ставя на решении дату проверки, помечая ее в календаре. Знала о переменах в пятой школе. Знала, что Анвар взялся круто за перестройку работы. Директоры других школ с интересом начали следить за пятой школой. До сих пор в городе лучшей была двадцатая школа. Спорили обгонит ли Анвар брата по работе. Рустам горделиво и любовно говорил о брате, но первенства уступать не собирался.

Таня уже была в двадцатой школе.

В школе Рустама Таня увидела то, чего так жадно хотела увидеть, посещая узбекские школы. Чистота и уют, организованность учащихся, порядок во всей учебной работе радовали ее.

* * *

Рустам вошел в кабинет Джурабаева. Сразу увидел, что Джурабаев чем-то серьезно расстроен.

— Что случилось? — тревожно обратился к нему.

Джурабаев только рукой махнул, быстро шагая по кабинету.

— Просто иногда руки опускаются. Столько дела неоконченного, незавершенного, а тут вдруг еще новая беда.

— Да какая же беда?

Еризбек остановился перед Рустамом. Провел рукой по лбу, успокаиваясь, сел.

— Нет, ты скажи мне, город у нас или не город?

Не дождавшись ответа, торопливо перечисляя и откладывая на пальцах, продолжал.

— Ночью пойти — голову сломишь, темно, в школах последние уроки срываются, — света нет, о квартирах не говори — опилки да фонари. Боимся ей перегрузку на одну свечу дать, просим, обслуживай только производство, понимаешь, только производство, а она, — в голосе Джурабаева была почти ненависть к электростанции, как живому существу, разжал пальцы, резко выбросил руку, — стала.

Рустам склонил голову: он хорошо знал вечную канитель с током. Маленький старый мотор электростанции отказывал дважды в месяц. Останавливался маслозавод. Ганиев, директор завода, большеголовый, с массивным туловищем, всегда наклоненным вперед, словно падающим при ходьбе, раздражительный и резкий, обрывал телефон и кричал в трубку:

— Тебя, как человека просили, не допусти простоя. Тебе говорил я, что нельзя план сорвать. Говорил, а? Разве человек ты?

И хотя обиженный Соколов уже давно повесил трубку, Ганиев продолжал орать в разъединенный телефон:

— Просили одно, сделали другое. Скажи дураку: «сними тубетейку», а он голову снял.

Опомнившись, швыряет трубку, не попадая на развилки, устало откидывается в кресле, успокаиваясь, обводит глазами комнату, вздрогнув, смотрит в окно. Еще идет за окном на широком заводском дворе работа, но уже неровная, конвульсивная. Еще движутся вагончики узкоколейки, еще толпятся около весов люди, стоит с листом в руках около высоких яркожелтых штабелей прессованного жмыха бригадир, еще копошатся рабочие около громадных сероватых гор хлопкового семени, движутся с квадратными метровыми носилками, но уже омертвело повис эскалатор, не слышно радостного гула машин, и из возникшей тишины непривычно явственно доносятся звуки человеческой речи, стук носилок о землю.

Через полчаса остановится узкоколейка, не нужным станет умный шелк гирь на весах, замрет жизнь на заводе...

Ероша волосы, покусывая ногти, отвернулся от окна, чтобы не растревлять сердце и почти подскочил на стуле. На стене прямо перед его глазами график. Вчера только упрямо и уверенно полз он к красной черте, обозначающей показателя месячного плана. Вчера только, скосив на него глаза, думал ласково и требовательно о том часе — он мог наступить через три — четыре дня, если бы не эта старая развалина — когда план будет выполнен, и тогда еще четыре — пять последних дней мог бы завод работать сверх плана! Только об это мечтал. Ведь работают сверх плана другие заводы и фабрики и где, почти у линии фронта, в осажденном Ленинграде — вот где! Нет, не будет и в ноябре никакого сверх плана.

Внезапно его бросает в пот. А будет ли план? Ведь и плана может не быть.

Почти ласково берет он трубку, терпеливо дожидается, когда освободится телефон: полгорода звонит сейчас к Соколову. Вкрадчиво говорит, стараясь быть как можно более убедительным:

— Ну, отремонтируй ее, друг! Ну, хорошо, хорошо. Согласен пойти к чорту, куда хочешь согласен пойти, только ток дай. Завтра дашь? А?

Замирает у трубки: ремонт потребует самое меньшее неделю. Сидит, устало опустив голову. Случайно взгляд падает на сегодняшней номер газеты. «В г. Горьком... переходящее красное знамя... стахановцы завода»... Яростно вскакивает. Ну что, что делать завтра: чистить и без того чистый двор, сажать перед заводом деревья? Чорт!

А через неделю сидеть в кабинете Иванова, опершись о колени, не поднимая глаз и знает Иванов, что был простой по вине электростанции, и все-таки медленно будут падать слова, каждое будет ранить самое сердце.

— Отсутствие тока не оправдание. Состояние нашей электростанции известно всем в городе, значит, должен был организовать работу так, чтобы выполнить план в три недели.

Иванов останавливается, и Ганиев ниже склоняет голову: он знает, сам знает эти слова, которые сейчас в наступающей тишине упадут тяжелым, как камень, обвинением.

— Забыл, что для фронта работаешь?

И никто из членов бюро не скажет ни слова в защиту, и сам Ганиев не скажет, да и что может сказать он, директор завода, который не выполнил план сейчас, когда армия наша, отстояв Сталинград, перешла в наступление.

Лихорадочно работает мысль. Ну что сделать, как организовать работу, чтобы план был все-таки выполнен. Неделя? Нет. Соколов пугает, может быть, меньше, может быть, пять дней, во всяком случае в распоряжении будет от одного до трех дней. Двадцать четыре или семьдесят два часа. Звонит, просит создать немедленно техническое совещание, а через час собрание всего заводского коллектива.

— Старики говорили, — шепчет себе, — если нет помощи от другого, поставь тубетейку на землю и посоветуйся с ней. У людей найду совет. Совесть у людей говорит? Сердце говорит? Неужели не выполним план? В короткий срок выжать силу из машин. Сейчас создать штаб, разработать в деталях каждое движение, забыть, что курят, едят, спят. Все забыть: одно помнить — для фронта работаем.

Директор хлопкозавода Якубов спокойнее: он уже нашел выход. В оставшиеся дни он позовет старших школьников, поставит на несложные работы, на подноску, во всяком случае, удвоит число рабочих. С предложением он немедленно идет к Иванову. Там уже Белецкий — директор шелкоткацкой фабрики, Назиров Боки — директор завода 612. Все молчат...

Рустам сосредоточенно ищет выхода.

— Маслозавод стоит, — перечисляет Джурабаев, — хлопкозавод наполовину стоит, у третьего свой движок есть, шелкоткацкая стоит, 612 стоит.

Он опять вскакивает, но не пройдя и двух шагов, круто поворачивает к Рустаму.

— К Иванову я сейчас, через десять минут у него совещание. Тебя прошу: побывай у Соколова, внимательно смотри, потом расскажешь.

Соколова Рустам на застал, ему предложили пройти к главному механику Шевченко.

— Не знаю такого, — вскинул брови Рустам.

— Новый он в городе. Эвакуированный с Северного Кавказа, видать, деловой парень.

Направились на электростанцию. Иван Васильевич весь ушел в машину: мотор, заставляя забиться сердце, делал один — два такта, искрил и обрывал движение, блеск частей переставал быть играющим, теплым, становился холодным, омертвевшим. Застывали, не перемещаясь, блики света, резко ощутимой была тишина.

Не замечая Рустама, не замечая никого из окружающих, снова и снова пытался завести мотор. Наконец, выпрямился, вытер ветошкой перепачканные машинным маслом руки, хмуро взглянул на Рустама.

— Вы что, товарищ?

— Я из горсовета. Джурабаев послал. Спрашивает, что делать будем, говорите чего надо.

— Говорить пользы мало, — буркнул в усы Иван Васильевич.

Широко шагая впереди Рустама пошел к конторе. Сел, положил руки на стол, оперся подбородком на кулаки. Покусывал губы, топорща усы, исподлобья смотрел на Рустама, словно не он, а Рустам должен был рассказать о положении на электростанции.

И вдруг Рустаму такой ясной стала тяжесть, лежавшая на плечах Шевченко, подошел к нему, близко заглядывая своими искрящимися светлыми глазами в его глаза.

— Ты не горюй, товарищ, — прижал руку к сердцу, убеждая, — подумаем, как надо, все другое придет.

Усталой улыбкой ответил Шевченко.

— А ты, товарищ, располагаешь, что не думаем мы? День и ночь думаем. А чего думать, драныга старая, не машина. Купить чего-нибудь надо, так у нас грошей, як у той жабы перьев.

Напряженно наморщив лоб, вслушивался Рустам в поток слов, стараясь втиснуть в среду понятных, известных значение вновь услышанных.

— Непонятный вы мне народ. Вот стоит она — думаете — авось отремонтируют. Отремонтируем — авось пойдет! Оно, конечно, вывезет и авоська, да не знай куда, не знай когда.

Слова его крутились колесом в голове Рустама. Внимательно вслушивался: полное сердце скоро развязывает язык, и только полное сердце стоит слушать.

— Скажи, пожалуйста, — повернул он Шевченко поближе к ясному, — пойдет станция?

— Пойдет!

Увидев, что Рустам готов ему ответить улыбкой, снова рассердился.

— Ну, чему ты обрадовался. Пойдет, а потом станет, опять пойдет и опять станет. А разве мы одним днем живем? Страна одним днем живет? Ну еще полгода, еще год — она совсем встанет, и то спасибо скажи, сколько сейчас на себе тянет. А ток что, через год нужен будет?

— Нужен, — разжал губы Рустам, посмотрел на Шевченко, не обижаясь на его горячность, серьезно попросил. — Будь друг, твой совет скажи.

Шевченко внимательно взглянул на ожидающее лицо Рустама. Нет, знал же он, что разный народ живет здесь. И напрасно перенес он на этого незнакомого человека свою невольную неприязнь к людям, которые, как ему казалось, часами сидели в чайханах, выпивая по несколько чайников чая в то время, как вся страна жила в непрерывном, возрастающем ритме напряженного движения.

— Я думаю так, — медленно заговорил он. — Станции крупный ремонт нужен, ничего не пожалеть, если надо, бюджет города перестроить, в Ташкент съездить, а главное здесь на местах смотреть: нужные запчасти могут и здесь найтись. Людей надо опытных, а слышал я, рестораном у вас электротехник заведует. Такого, конечно, к машине не следует и близко подпускать. А все-таки, думаю я, могут люди найтись. Да и прямо сказать, директора сюда другого надо. Наш-то человек умный, да толку в нем нет. Сидит здесь три года, к недостаткам привык. И к нему привыкли, думают, работает долго, значит, и хорош, годится. У нас так ведется, что всяк годится, да не на всякое дело. Дело тут серьезное, надо чтоб о нем сердце и во сне болеть не переставало. А Соколов

наш как сядет в бухгалтерии, закопается в бумагах да ведомостях, прямо тебе скажу: плюнуть хочется. Сидит н как автомат какой по телефону всем отвечает: «Не пойдет. Раньше недели не пойдет, требуется осно-овательный ремонт». И скажи, пожалуйста, «основательный», этот так растягивает, аж захлебывается, словно не станция стала, а орден ему дали.

Иван Васильевич сердито покосился на Рустама:

— А чтоб нужные части найти — этого нет. И вообще, — помолчав, махнул рукой, — в дело-то он нырнуть может, а вот вынырнуть — не знаю!

Рустам научился у Джурабаева слушать так же просто, внимательно, не перебивая, чтоб свободно текла мысль собеседника. Если неправильно пойдет она, всегда можно будет повернуть, подвести итог. Тихо спросил:

— Большой ремонт будет. Год пройдет. Снова остановится.

— Встанет, — согласился Шевченко. — А тут другой выход есть, только времени терять не надо...

Он пересел рядом с Рустамом, увлеченно схватил его за руку, взглянул сузившимися глазами, почти прошептал:

— ГЭС строить надо!

Рустам почти не слушал того, что говорил дальше старик. Обгоняя одну другую, мчались мысли. Вспомнил, как рыли арык, обводняя город, — радостный праздник народный: мальчишкой был тогда. А сейчас прорезает город привычная широкая лента арыка, желтая весной, когда глинистые тяжелые текут в ней воды с гор, прозрачно-чистая в дни лета, холодная свинцово-серая зимой, дрожащая серебряной рябью ври дожде, розовая в час заката, черная, отражающая огни звезд ночью.

Вспомнил, как лет шесть тому назад прорвались воды, хлынули на город — с одной стороны по верховьям холмов проходил арык, и в низине лежали пригородные колхозы. Вспоминал, как снимали людей с деревьев, как с жалобным блеянием тонули бараны в густых пенных волнах, одним ударом разрывающих глиняные стены домов.

Вспоминал низину эту, как бы созданную для котлована. И как нарочно, вблизи проходило пересохшее русло маленькой речушки, идущей с гор.

В мысли Рустама вклинивались отрывки слов Шевченко о мощной энергии, которая обеспечит весь город, о свете, что загорится в домах колхозников. И вдруг оборвал себя: война? Разве можно размахнуться на такое строительство сейчас и, отвечая на его мысли, склонился к нему Шевченко.

Не «товарищ» сказал он, сказал «уртак». Сказал почти единственное слово, которое успел узнать по-узбекски, желая стать как можно ближе к этому, еще полчаса тому назад незнакомому человеку.

— Уртак-джан! Война идет. Внутри войны мир готовить, будущее готовить, расцвет жизни нашей готовить нужно...

Крепким рукопожатием отвечал Рустам. Встал.

— Айда, в горсовет пойдем. Сейчас пойдем. С Джурабаевым говорить будем.

* * *

Еризбек очень любил тихие ночные часы работы. После всей горячей сутолоки дня, десятка больших и маленьких дел, сотен людей, которых ободрил или выругал, остаться самому с собой, честно и требовательно заглянуть в себя, дать оценку людям и их делам, подвести итог, определить, что же осталось недоделанным, ибо недоделанных дел, этих бесформенных и еще молчаливых обрубков больше всего не любил Джурабаев и стремился, чтобы в них скорее проглядывали форма и живое тепло.

Совещание окончил во втором часу и все-таки привыкнув к определенному ритму, не мог уйти домой... Вызвал секретаря с делами для доклада, окинул его беглым взглядом, увидел покрасневшие от бессонницы веки, утомленное лицо, отпустил домой, решив сам просмотреть весь материал и только напомнил, чтобы не забыл он явиться к восьми — дела завтра будет очень, очень много. Углубился в чтение заявлений, актов, докладных. У Еризбека было твердое правило. Письменный стол к утру должен быть пуст. К утру вместо кипы дел и заявлений остается только два листка с пометками для заместителя и секретаря, да записи в тетради задания себе на следующий день.

Позвонила из дому жена, спросила очень ядовито, не забыл ли он где живет. Улыбаясь, поднял глаза на часы — третий час! Успокоил: сейчас с минуты на минуту будет дома. Хотел уже встать, но снова привычно опустили глаза вниз; заявление Омины Ахмедовой. Поднял брови, припоминая.

А, Омина, жена Якубджана. Месяц назад получила извещение о гибели мужа. На руках четверо детей.

Тревожно задумывается, вглядываясь в черный просвет скна, за окном стояла густая ночь, осенний ветер раскачивал деревья. Барабанили в стекло дождевые капли.

Быстро записал в тетради — договориться с Мирзаевой — снова вопрос о женщинах-узбечках. Обламывая карандаш, резко подчеркнул. Сделал пометку для секретаря: уголь и талон на обувь Ахмедовой.

Вернулся назад. Все ли? Ну, предположим, Мирзаева уговорит, и Омина пойдет на производство, а дети? Нужно завтра проверить в Гороно, сколько детей-узбеков в детсадах.

Незаметно смыкаются веки, делается тяжелой, свинцово-тяжелой голова, опускается на грудь. Откуда-то рядом оказывается старый Сафар, протягивает ему блюдо с тяжелыми розовыми, как утренняя заря, виноградными гроздьями. Он делает шаг навстречу и просыпается. Посмеиваясь над собой, снова продолжает работу, вот последний листок бумаги «Еризбек-ака», написано там размашистым почерком. Буквы падают одна на другую, большие и маленькие, кривые, неправильные, но как стрела от самого сердца идет мысль «Еризбек-ака, мы рабочие маслозавода, даем слово, что в этом месяце простой не заставит нас сорвать план. Приходи, проверь».

Радостное волнение приходит к Еризбеку: узбекская родная земля — цветущий сад мой, горячее солнце земли моей, горячее сердце братьев и сестер моих, счастье жизни моей!..

Джурабаев встает и снова садится, нужно быстро пробежать, что наметил на завтрашний день.

Одна за другой мелькают записи: вызвать Каримова, мобилизовать старших учащихся на маслозавод и хлопкозавод, побывать с докладом у Саттарова, съездить в колхоз Хельмана, собрать председателей кварткомов и еще десятки дел.

А одно дело не записано, но в сердце Еризбека каждый день добавляется новая запись о нем. Еризбек осторожен, он молчит, пока не спробует сам со всех сторон прочность того, что становится мечтой его сердца. Издалека приехал русский старик. Ждал его Еризбек, болел душой за его горе и вот, вступив на землю Еризбека, принес он с собой мысль о будущем, об огнях, что должны загореться в кибитках далеких колхозов, о силе и мощи, которая должна дать возможность предприятиям города в два — три раза перевыполнить план.

А разве так? Разве есть земля русского старика отдельно и земля Еризбека отдельно, разве не одно имя у нее?..

Нужно снять скорее Соколова. Поставить Шевченко? Может быть, да, а может быть, проверив еще и еще раз, доверить ему руководство на строительстве будущей ГЭС. Будущей ГЭС? А разве непременно будет оно, это строительство? И уверенно, и торжественно говорит себе: непременно! будет!

Нет, никому пока, кроме Саттарова и Иванова, не расскажет, что уже запросил Ташкент, что трепетно ждет ответа, что завтра представят ему и предварительные расчеты необходимых земляных работ, потребного количества рабочих.

— Раньше вас не придешь, — раздается голос секретаря.

Часы показывали восемь, за окном стояло серое пасмурное утро. Только хотел сказать, что и не уходил еще, взгляд упал на раскрытую тетрадь: много надо делать, дня нехватит. Внутренне подмигнул себе, пряча улыбку: лучше промолчать, а то начнутся ахи-охи, уговоры.

Резко зазвонил телефон. Еще заспанный, по-домашнему теплый голос жены.

— Цветок сердца моего, — ласково отвечает Еризбек, — я спал. Я очень устал, спал на диване, в кабинете, бесконечно долго, наверное, четыре часа. Нет-нет, радость моя. Разве обманывал я тебя когда-нибудь. Конечно, отдыхал. Поцелуй сыновей. Что, не хочешь передавать им даже привет беспутного отца? Ну, прости меня. Я очень прошу тебя, не завтракай дома, принеси мне покушать, хоть лепешку съедим пополам. Жду.

Улыбаясь, положил трубку. Знал, что через полчаса увидит жену. Маленькая, гибкая, непокорно-колючая, обрушит она на него поток упреков, стремительных и несправедливых, а потом смирившись, притихшая, будет сидеть против него вся такая любимая с девически-тяжелыми черными косами. И острые покалывающие иголки сменятся в глазах глубоким черным бархатом ласки.

Вошел во двор. Дождь давно кончился, но небо хмурилось.

Подошел к арыку. С краев он уже замерз, хрустели белые прозрачные елочки льдинок, но в середине бежала чистая вода.

Наклонился, вымыл руки, лицо, вытер шелковым серебристым платком, расшитым женой. Голова была совершенно свежей.

Город просыпался.

* * *

Один за другим приходили люди. С обувной фабрики доложили, что до конца месяца дадут триста пар сверх плана. Главный врач госпиталя требовал свежих овощей, связал его с колхозом. Долго разговаривал с Оминой Ахмедовой. Сидела, откинув паранджу, прямая, строгая, похудевшая к еще более красивая... В двенадцать собралась комиссия, которой поручил подработать вопрос о ГЭС. Только инженер завода № 612 Николаев раскатал сложенные в трубку записи, пригладил их, топорщившиеся и мятые, рукой, протер очки и откашлялся, чтобы начать сообщение о мнении комиссии, зазвонил телефон.

Выслушал, встал.

— Извините, товарищи. Оставляю вас на десять минут, вызывает товарищ Саттаров и говорит, что по очень срочному делу.

В кабинете Саттарова сидел, вглядываясь в телеграфные строчки: предстоит громадная работа, еще одна громадная работа! И сделать ее надо хорошо. Отправить в Молотовскую область пятьсот рабочих на лесозаготовки, — нешуточное дело. Практический ум Джурабаева быстро сделал наметку, ухватился за ряд вопросов.

Саттаров внимательно вглядывался в лицо Еризбека.

— Дело не только в отправке рабочих, — тихо сказал он, — вопрос касается лично вас.

Недоумение отразилось на лице Джурабаева.

— Возглавить рабочих области, организовать их в непривычных для них суровых зимних условиях, вдали от дома на работе, может только хороший коммунист, — убежденно заговорил Саттаров. — Еще по дороге нужно создать коллектив, чтобы ни одного дня не ушло на раскачку, чтобы сразу приступить к работе и выполнить ее.

Саттаров помолчал, дав Еризбеку обдумать свои слова и серьезно закончил:

— Выбор бюро обкома остановился на вас.

В первую минуту Еризбек не понял, так прочно он врос в работу, тревоги и радости, всю жизнь города. И вдруг сразу дошли до сознания слова: «Выбор бюро обкома», трезво и лицом к лицу поставили с вопросом.

Встал.

— Партийное поручение принимаю, — голос его звучал хорошим волнением. — Выполню его с честью!

Обнял его Саттаров.

— Иначе нельзя, Еризбек! Здесь легче, бесконечно легче будет. Здесь силы много, жизнь города, несмотря на ряд срывов сравнительно налажена. Иванов хорошо знает людей. Сам я могу в любую минуту помочь.

— Знаю, — коротко ответил Еризбек.

И твердый тон его, и спокойный взгляд сказали Саттарову, что нечего тратить напрасно слов.

— Кто заменит тебя?

— Хамидов хорошо знает работу, он прекрасный помощник и самостоятельно работать умеет.

— Я тоже так решил. Вообще посылаем мы тебя не надолго. Наладишь, а через месяц — два дадим тебе смену.

— Помогайте Хамидову, — попросил Еризбек, — до весны надо решить вопрос о строительстве ГЭС.

— Уезжай спокойно, — ответил Саттаров. — За каждым делом, начатым тобой, досмотрю. Обдумай все хорошенько. Перед отъездом, — улыбнулся глазами, — дашь задание мне.

Попрощались. Еризбек быстро вышел из кабинета. Заметив, что никого нет, на минуту прильнул разгоряченным лбом к стеклу. Напротив около горсовета стояла белая лошадь. «Ганиев приехал, — подумал Еризбек, — надо сказать ему... Впрочем, теперь ничего не надо. Через три дня уезжать...» И вдруг обрушился на себя за безразличие этой мысли. Нет, именно нужно сказать. Нужно чтобы без него ровно и не спотыкаясь текла жизнь города. Вспомнил слова, сказанные когда-то Саттаровым: только так изучается руководитель, сумел ли настроить работу, чтобы не нарушился четкий ритм, чтобы естественно сами собой встали люди, способные заменить. Не дать ли Хамидову заместителя?

Может быть, пора выдвигать Рустама? Нет, рано ему еще руководить. От вчерашнего дня в нем еще много. Вот Анвар уже крепче. Но, пожалуй, Хамидов и один справится. Ведь справлялся же он, когда Еризбек выезжал на Ферганский канал. И снова возникла мысль о ГЭС. ГЭС? К началу работы вернется Еризбек, но сейчас важно добиться разрешения, провести подготовку... Надо ничего не забыть. Ремонт шестнадцатого детдома обещал помочь... На Таш-Кумыр послать бригаду, недавно ездил, много угля можно привезти для госпиталей, школ, больниц.

И незаметно, сквозь привычный ход хозяйских забот о городе, пробивались новые, но уже властные: одеть людей хорошо, тепло одеть, не забыть ни одной мелочи, которая сделала бы более спокойным пребывание людей вдали от родного города, пусть это будет всего лишь чурманда. Надо, чтобы в составе рабочих был поэт, сказочник, певец и сейчас же улыбнулся: о чем заботится, разве не знает творческих сил своего народа: где соберется десяток человек, всегда найдется один, отмеченный поэтическим даром.

Радостно почувствовал в себе уверенность, силу. Как знак доверия, знак почета принимает он поручение.

Три дня... Нет, не дни, а сплошной поток дел цепких, требовательных, готовых сбить с ног, закружить в водовороте. Сколько друзей! Какое счастье иметь столько друзей горячих, взволнованных, честных. И серебряной нитью арыков растекаются дела, каждое на свой участок и напоенная ими земля будет цвести, даст плоды... Недаром, не жалея сил, тяжелым кетменем взрыхлял эту землю Еризбек и друзей учил любить ее, эту землю, залог весеннего цветения садов.

Как одна минута, промелькнули три дня. Погрузка в вагоны. Грузят в вагон продукты, бригады проверяют состав своих бригад. Начальнику эшелона нужно быть везде, нужна шуткой, улыбкой смягчить остроту последних минут.

И вдруг останавливается течение времени, Еризбек слышит голос Саттарова:

— Ну, хозяин, прощаться пора.

И сразу хлынуло в сердце все окружающее. И солнечная голубизна декабрьского дня, и маленькое серое здание вокзала родного города, и лица людей, с которыми едет на большое и трудное дело, и темные изумленные пуговицы глаз детишек, сосредоточенно строгая красота жены. Не успел проститься с ней как следует, со всей нежностью, которой достойна горячая любовь ее. Не плачет мать, улыбка на губах у отца, и прямо, сжав бровенки, стоят сыновья, только чуть дрожит подбородок младшего, Назима; подхватывает его на руки, поднимает высоко, и замирает маленькое сердце Назима, увидевшего сразу длинный красный состав, большую толпу людей в защитных стеганках, в ушанках, горы хлопковых тюков. Объятия, дружеские руки, протянутые со всех сторон, огорченные глаза Рустама мелькают на мгновение. Анвар...

В последний раз прикидывает Еризбек к губам жены. Выпрямляется. Металлически четко звучит его голос:

— По ваго-о-онам!

— По ваго-о-онам! — повторяют на разные голоса бригады. Облако белого пара растет и застилает собой черный отфыркивающийся паровоз, вздрагивают спицы колес.

Уплывают дорогие лица, поворачивается здание вокзала, в торопливом стуке колес остается позади город. Молчаливо, не отрываясь смотрят люди, как остаются в голубой солнечной дали его очертания.

Стрелой летит паровоз по рыжей степи, чуть присыпанной на холмах снегом. Рядом с полотном вырастает надменно поднятая голова верблюда, широкоскулое лицо казаха в лисьем малахае, мелькают будки, мелькает бурое кружево мостов. Эшелон за эшелон обгоняют их воинские составы; на платформах, прикрытых брезентом, проплывают танки, тяжелые орудия. На сосредоточенных лицах людей отпечаток строгости и торжества: не на восток — на запад едут они. На запад, где занялась уже заря победы.

А там, за тысячами километров, заваленные голубоватым снегом, стоят темные до синевы леса. Рыхлые тяжелые пласты снега придавили ветви старых елей, до самой земли спустились они. Намело сугробы снега на маленькие елочки, четким узором брошен между ними танцующий заячий след.

Тишина.

Скоро взорвется она, песней, гортанной речью. Проваливаясь по колена в рыхлый сухой снег, придут люди, шумно станет на извечно-молчаливой поляне, мелькнет узкое злое серебро пилы и, вздрогнув верхушкой, осыпая серебристый снег с ветвей, начнет тихо склоняться к земле старая ель.

— Таня, а ты помнишь, как в нашей школе однажды открытый день проводили? — спросила Наташа.

— Припоминаю. А что?

— Нет, ты скажи, хорошо помнишь?

— Ну, помню. Учителя из нескольких школ должны были придти к нам на уроки, ты перед этим месяц с ума сходила, все какие-то таблицы готовила, индивидуальные карточки каждому. Впрочем, — засмеялась Таня, — я помню, что ты всегда удивительно умела найти себе работу.

— А вот и не помнишь, — упрекнула Наташа. — Ты тогда над диссертацией сидела и все просмотрела.

Она встала и торжественно отчеканивала:

— Открытый день проводится в лучшей школе района. Школа тщательно готовится к этому дню, ставит определенные задачи. Составляется план посещения уроков. Сорок — пятьдесят человек гостей распределяются по классам, посещают уроки, кружки, знакомятся с документацией; выставку школа устраивает...

— Подожди, подожди, кажется, соображаю, — откликнулась Таня.

Наташа засмеялась. Таня уже давно опустила руки с недочищенной картошкой. Взяла у нее нож, быстро и ловко начала срезать кожуру, бросая картошку одну за другой в кастрюлю.

— Пока ты соображать будешь, Света из детского сада прибежит, расстроится, что обед не готов.

— Нет, Наталка, ведь это же идея. Молодчина ты!

Наташа церемонно расшаркалась.

— А главное, что здесь хорошо, — стала серьезной Наташа, — школа наберет определенную высоту, потом снижать качество не захочется.

— А школы-гости увидят хорошую работу, переймут кое-что, — подхватила Таня. — Где же первый открытый день проведем? В первой школе?

— Нет, я думаю с русскими школами подождем. Давай-ка в пятой, у Камалова.

— Может быть, у Рустама лучше?

— Видишь, я согласна, что пока школа у Рустама лучше. Но вопрос в движении, в его темпе. Обгоняет не тот, кто: впереди, а тот, кто быстрее движется.

— Ох, смотрю я, очень ты благоволишь к Анвару Камалову, — засмеялась Таня.

— Конечно, — покраснела Наташа. — Он этого заслуживает. Только знаешь, я серьезно говорю, без глупостей, так: что улыбаться не стоит.

— Да я же шучу, — отмахнулась Таня.

— Ну, так реши... — Наташа не докончила и бросилась к лите: молоко убежало. Комната мгновенно наполнилась чадом.

— Знаешь, — философски заметила Таня, открывая форточку, — давай условимся ни о каких вопросах не говорить в такой ответственный момент, как приготовление обеда.

— Целеустремленность должна быть, — поддержала шутку Наташа.

Но через минуту они обе сидели рядом, распределяя город на участки.

— Уменью организовать работу класса следует поучиться у Зияева, у него урок как по нотам идет, ни одна минута не пропадает, весь класс в работе.

— Значит, к нему на урок надо Ахмедова из седьмой школы послать, Салимову из двенадцатой.

— А забыла Борухова. Я у него была на уроке, так он полурока с одним учеником у доски провел, а класс был предоставлен самому себе...

— На выставке все планирование показать...

В школу к Анвару пошли втроем. Каримов с удовольствием ухватился за мысль. Решили на месте проверить возможности, потом уже составлять план.

Анвара застали во дворе. На площадке перед школой вместе с Ильенко и старшими учениками был занят он разбивкой спортплощадки и установкой снарядов. Оживленный, он тянул куда-то стойки, передал по назначению, приветствовал гостей.

— Мешает, чорт, — кивнул он на свою руку.

Каримов с удовольствием смотрел на суету во дворе.

— Целый стадион оборудуете, — приветливо кинула Наташа.

— Да, именно стадион, — с гордостью ответил Анвар. — Перенесем сюда из сада две скульптуры, поставим скамейки.

— Ой, увлекаетесь, — засмеялся Каримов, — а доски?

Молча взял Анвар под руку Каримова, взглядом пригласил Таню и Наташу следовать за собой, широким жестом распахнул двери сарая.

Каримов не смог сдержать восклицания — до самого верха сарая лежали трехметровые гарбыли, целое богатство для школы. Лучи солнца, ворвавшись в сарай, заиграли на золотистых срезах.

— Откуда?

Анвар скромно потупил глаза:

— Я решение родительского актива месяц тому назад принес в Гороно... Мы, знаете, как с населением живем? В чайхане около школы, каждый день учителя проводят беседы, выступления даем, сейчас решили оркестр национальных инструментов организовать.

— Это средства... А Доски откуда?

— Шеф, — объяснил Анвар. — Оказывается, у школы чудесный шеф — маслозавод, только забыли об этом шефстве все. Вот мы и решили его возродить. В долгу перед заводом не остаемся. Ежедневно двадцать — тридцать человек даем. И ребята не страдают, не больше, чем раз в неделю, получается. Труд каждого из них учитывается, лучших отмечаем. Работа эта дает радостное чувство участия в великих трудах страны. Необходимое чувство, без него человека не воспитаешь.

Он прикрыл двери, хитровато улыбнулся.

— Я вам еще кое-что покажу.

В двух чистых, только что побеленных комнатах флигеля было собрано оборудование для ткацкой и столярной мастерской.

Прошли в школу. В большом коридоре-зале скульптура Сталин с Мамлякат, цветы. Тихо, ступая по дорожкам, прошли мимо классов. За одной из дверей слышался ровный характерный шум.

— Что это? — подняла брови Таня.

— Сегодня первый раз кино-урок даем, — объяснил Анвар, сдерживая торжество.

— Разве у вас есть аппарат? — удивился Каримов.

— Больше года числился испорченным. Осмотрел его, повозился с ним неделю. Наладил.

В канцелярии, у двери в кабинет Наташа придержала Тоню за руку:

— Что, не ошиблись?

Таня кивнула головой.

Кабинет, носивший на себе раньше отпечаток безхозяйственности Исмаилова, изменился. Особенно понравилось Тане, что в углу стоит шкаф с книгами. Подошла, читая через стекло корешки: Ленин, Сталин, «Тихий Дон», «Как закалялась сталь» — на узбекском, Маяковский, Чернышевский, Горький — на русском языке.

— Ну, Татьяна Васильевна, докладывайте, с чем мы вршили, — обратился к Тане Каримов.

— Пусть лучше Наталья Сергеевна, — отозвалась Таня, — она здесь главный изобретатель.

Анвар повернулся к Наташе. Горячо объяснила Наташа план. С заискрившимися глазами, уже мысленно подправляя и добавляя, слушал Анвар. Наташа кончила.

— Большая честь, — задумчиво заключил ее рассказ Анвар, поднял глаза на Каримова:

— Не рано ли нашей школе.

— Обдумали, — коротко ответил Каримов.

Анвар встал, прошелся по кабинету:

— Спасибо! Только помочь мне надо.

— Наталью Сергеевну прикрепляем. Месяц подготовки.

— Тогда сделаем...

* * *

Анвар остался один, долго сидел в кресле. Стройно вставал план подготовки. Хорошо придумано, коллектив уже начал, жить вопросом о чести школы. Вот в реальную форму облекся этот вопрос. Добиться многого за этот месяц, каждому добиться и потом не снижать. Вызвать уверенность в себе. Да, много придется поработать с каждым, чтобы правильно поняли, не

увлекались показной стороной. Об этом говорила Наталья Сергеевна... Медленно поднял глаза. Когда они не на работе, Бородина называет ее «Наташа».

— Наташа, — сказал он тихо, прислушиваясь к звучанию имени. Каким ласковым было оно. Каждая гласная словно пела и просилась в сердце.

Завтра она придет рано утром. И будет приходиться часто...

* * *

На Новый год Таня и Наташа были приглашены к Камаловым. Народу будет немного, только семья, родные, может быть, придет сестра жены, Каримов, еще два — три человека.

Пошли часов в десять; Светлана, уже успевшая основательно выспаться, бежала припрыгивая, поживаясь от свежести. Улицы были залиты лунным светом. Никогда и нигде не видели Наташа и Таня неба, подобного здешнему. Даже в свете луны было что-то теплое, даже облачка, мимо которых она скользила, скрашивались не в привычно связанные с луной зеленоватые цвета — нет, края их чуть розовели, словно не холодный лунный свет падал на них, а отблеск зари. Луна не склонялась к горизонту, почти над головой стылз она. В ярком, каком-то декоративном свете ее блестел ледок на арыках и замерзших лужицах. Снега не было, шаг твердо печатался на застывших глиняных тропинках. Вот и еще одна нарушенная традиция. До войны только дома, только в семейном кругу встречали Новый год. Какие Борис слова всегда находил, большие, сердечные... Что скажет он им в своем сердце сегодня? Что пожелать ему? Но нет у них отдельных желаний. Одного желают они и Борис, и миллионы людей. Одного... Желают здесь в далеком тылу. Желают в окопах и блиндажах, по всей тысячеверстной линии фронта, желают в осажденном Ленинграде, желают в городах и селах, где зарево пожаров обрело на горе видеть врага в своем доме, на родной любимой земле, видеть его еще живым. Не только желание это. Это — воля, сосредоточенная, упорная, которая оденет желание в металл и камень, сделает его жизнью.

Рустам и Анвар радостно встречали гостей.

Наташа оглядела присутствующих, села на ковре.

Рядом с ней, несколько неловко опустился Анвар, тряхнул головой, и как бы обращаясь за сочувствием, повернулся к ней:

— Отвык на полу сидеть...

— Есть пословица, — засмеялся Рустам, — ишак знал семь способов плавания, подошел к воде и все забыл.

— Нет, вообще трудно сейчас бывает, — серьезно сказал Анвар. — Как сквозь сон вспоминаю. От многого отвык.

— От родного народа отвык? — недовольно бросил Рустам.

— Не от народа, — от отсталых его обычаев и привычек. Сейчас не знаю — других отучать или самому привыкать.

— В стране кривых, дорогой, зажмуривайте один глаз, — ответил Рустам пословицей.

— Грустно, но, пожалуй, придется, — шутливо согласился Анвар. — Я уже хочу тибетейку покупать. Идет? — спросил он, примеряя тибетейку Рустама.

— Еще бы нет! — ответила Наташа.

И действительно, тибетейка как-то сразу оформила и подчеркнула то красивое и национальное, что было в лице Анвара.

— Волосы снимать надо, — сказал Рустам.

Анвар снял тибетейку, поправил прическу, ничего не ответил брату.

Рустам разлил по рюмкам вино:

— Выпьем за счастье, за победу, за конец вейны.

Черный сладкий чорос ударил в голову, разговор стал шумнее, смех громче.

Рустам снова наполнил рюмки.

— Я не очень люблю вино. Оно хорошо, когда своей радости в сердце нет, когда подогреть себя нужно, — заметил Анвар. Он поднял рюмку и, глядя сквозь стекло на свет, чуть улыбаясь, прочитал какие-то строчки из Беранже.

— Беранже, — повторил за ним незнакомое имя Рустам. — Разве мало тебе своих узбекских поэтов.

«И если Наманган покину,

Кто пожалеет обо мне», — напомнил он.

— Машраб, — определил Анвар. — Я часто вспоминал его стихи вдали от родного дома. Я люблю стихи своих узбекских поэтов. — Анвар помолчал и вдруг закончил: — Но только, Рустам, мир большой, ах, какой он большой!

Вздригнуло сердце Наташи. Большой мир! Сколько раз раскрывался перед ней. И сейчас встает новый стороной, расцвеченной всеми красками востока и вместе с тем, близкий, свой, советский. Только за советское это еще бороться надо, чтобы проникло оно глубоко и всюду, чувствовало всегда и везде: в работе, в отдыхе, в семье, в стремлениях и радости. Хорошо, что она оказалась здесь. Дела много. И хочется стоять в этой борьбе рядом с Еризбеком и Анваром. И верится, что Рустам тоже встанет в строй.

Не успела подумать, отвлек вопрос Анвара.

— А вы, Наталья Сергеевна, читали наших поэтов?

— Я еще мало знаю узбекскую литературу, — призналась Наташа, — ну, конечно, знаю Навои, Муками, Хамза Ниязи, из современных Айбека, Хамида Алимджана...

— Стихи Гафура Гуляма очень люблю, — продолжала Наташа и смолкла.

Анвар с бережной лаской посмотрел на Наташу.

Он знал, что должна была она любить Гуляма всей силой материнской души, должна была верить, что от имени всего узбекского народа чудесными стихами своими сказал он ее сыну: ты не сирота! Всю ласку горячего народа своего собрал, чтобы сказать склонившись над кроваткой ее сына, потерявшего отца и мать:

Спи спокойно, мой сын, скоро кончится ночь!
Спи спокойно, мой сын, в нашем доме большом
Скоро утро придет, и опять за окном
Зацветут золотые тюльпаны зарниц...

Анвар поднял голову. Да, она знает эти стихи, не может не знать. Если тревожно у ней в сердце, пусть сегодня успокоят они ее, пусть звучат клятвой народа, охраняющего детство тысяч сирот.

Он встал, вышел, через минуту вернулся с журналом, раскрыл его. Он знал наизусть эти стихи по-узбекски, но он хотел прочесть их по-русски. Тихо, не глядя на Наташу, со сдержанной силой начал читать.

Разве ты сирота?.. Успокойся, родной,
Словно доброе солнце, склоняясь над тобой,
Материнской, глубокой любовью полна,
Бережет твоё детство родная страна,
Здесь ты дома.
Здесь я стерегу твой покой,
Спи, кусочек души моей,
маленький мой!

Прикрыв глаза рукой, слушала Наташа. В новогоднюю ночь слышит она эти строки. Пусть будет правдой о Васильке. Маленький мой, — всем существом отзывалась строкам стиха. Резкая, щемящая боль родилась в сердце.

Тверже звучал голос Анвара:

— День великой войны — это стойкости день.

Выпрямилась, подняла глаза. Сынка мой, Василечек, верно, что найду тебя, что сохранят тебя родная страна, родной советский человек. И словно в ответ на ее мысли —... Станут счастьем моим все заботы мои... — взволнованно читал Анвар.

Благодарность вошла в сердце, большая, обнимающая все существо. Отсвет огня дрожал в ее затуманенных глазах и еще красивее показалась она Анвару.

...Я припомню дрожащие эти глаза,

Когда выйду на битву громить палачей, — торжественно, как обещание, читал Анвар.

Ты выполнил его! Ты мстил врагу. За меня, за моего сына, за горе всех матерей. Недаром Родина-мать орденом украсила твою грудь, — говорил ее взгляд Анвару. Выступили слезы на

глазах не отрываясь, смотрела ему в лицо. Все взволнованней и приглушенней звучал голос Анвара:

И продрогший простор
словно сразу согрет

Полусонной улыбки
внезапным лучом.

Это — скоро рассвет,

Это — белый рассвет.

Это — белый рассвет у меня за плечом.

Резко захлопнув книгу, Анвар вышел из комнаты. Зашумели вслед ему Таня, Каримов, Рустам, а Наташа сидела сосредоточенная, полная радостной уверенности: о счастье детей думает вся страна, мальчик мой. Любовно обережет она тебя, отдаст мне.

Заговорили о детях, о школе. Рустам смеялся:

— Тридцать рублей штрафовать буду, кто о работе на празднике говорит.

И все-таки снова заговорили о работе.

* * *

С чувством хорошего волнения вышла Наташа из класса. За это время, что она вместе с Анваром готовила школу к открытому дню, успела хорошо узнать и полюбить десятый класс. Был он небольшой, всего пятнадцать человек, но это были юноши и девушки, уже выбравшие дорогу в жизнь.

Большая и яркая раскрывалась она перед их изумленными и радостными очами. О настоящем и будущем родного края думали они, о сегодняшних днях его, где еще рядом с белым было черное, отбрасывало на него свою тень. И о своем будущем думали, собирали знания и силу, чтобы помочь солнцу осветить каждый угол в родном краю, каждое сердце.

В начале года учащихся было больше, но сейчас пятеро писали письма оставшимся товарищам из разных мест: в лётной школе учились Малик и Боки, под Ленинградом сражался Юнус, на юге Ортык и Якуб. А Гафур погиб в первом бою, не отдавшись страху, не отступив... И сейчас казалось, что был он самым умным, самым лучшим из всех. Портрет его висел в зале среди портретов фронтовиков и отличался от них только тем, что под ним стояли слова: «Погиб за Родину 7 октября 1942 года», но эти слова отделяли его от других непроходимой чертой и надолго останавливали взгляд на смелых и веселых глазах, которыми смотрел он с портрета.

Одиннадцать из пятнадцати были комсомольцы. Это был первый выпуск школы. Школа окружила его большой заботой и, честное слово, — ребята стоили этой заботы. Почти все время проводили они в школе. Рядом с библиотекой была комната для занятий, отданная десятому классу. Даже поздним вечером светились ее окна. Здесь десятиклассники готовили уроки, здесь читали, здесь задумывались над книгой, забывая обо всем окружающем, здесь жадно прочитывали свежий номер газеты, здесь жарко спорили, здесь мечтали о будущем; во всей необъятности и богатстве открывалась жизнь, нужно было выбрать дорогу, чтобы пройти по цветущим полям ее. Трудной ли будет дорога? Нет! Разве трудно делать то, что любишь, разве не являются тогда сами трудности источником счастья.

У каждого было свое лицо.

Любил пофилософствовать Умар, он много читал, много думал. Поднимал на товарищай большие глаза, медленно говорил о процессе развития как поступательном движении, о новых качествах, возникающих на этом пути. Внимательнее всех слушал его Абиджан. Но как только переходил границу Умар и увлеченно начинал фантазировать, Абиджан первый возвращал его к жизни дружеской шуткой: «Ой, приятель, а не перейдет ли количество твоей сегодняшней болтовни в качество незнания урока на завтра. Не отомстит ли тебе диалектика за то, что ты так свободно обращаешься с нею. Уважения побольше надо». И вспыхивал молодой смех в комнате.

Комсомольской совестью класса был Кадыр. Его слова «хорошо сделано, по-комсомольски!» — были приятны каждому. «Плохо» — он не говорил. Он смотрел изумленно, недоумевающе. Проходила минута, две. «Почему поступил ты так? — огорченно спрашивал Кадыр. — Давай разберемся вместе...» Юлдуз говорила редко, на собраниях не выступала, не спорила. Она жила просто, спокойно, уверенно. Жила, чувствуя на груди своей комсомольский значок. Не было случая,

чтобы она не знала урока. В любую работу что-то свое скромно и незаметно вносила Юлдуз. Она не бросала никаких призывов, но рядом с ней дышалось легко, по ней хотелось равняться.

Не всегда с удовольствием думал о школе Хамид, готов был иногда улизнуть от трудного дела, а потом с оскорбленным видом доказывать, что не мог он принять в нем участие. Но коллектив иногда терпеливо, а иногда жестко подравнивал и его, исправлял, где нужно; удивительно легко делает, это хороший коллектив.

А в общем она росла, смена Еризбеку и Анвару, она созревала.

Наташа не сразу нашла контакт с десятиклассниками, вначале они сторонились ее. Однажды она вошла в класс, когда шло обсуждение самого большого, самого волнующего вопроса «кем быть?». Ребята смутились, но обсуждения не прекратили. Говорили об умной профессии врача, трепетной вдохновляющей борьбе за жизнь человека, об открытии всех тайн земли геологом, о профессии мелиоратора, которому служат платой за труд благоухающие цветущие сады. Слушала ребят с удовольствием — вот он, итог работы школы, будущее Родины. Потом какая-то неясная мысль смутила ее, оформилась. Наташа колебалась. Но разве не обязан инспектор активно вмешиваться в жизнь школы. И еще больше, чем инспектором, почувствовала себя учителем, гордясь самым прекрасным трудом своим, создающим высшую ценность мира — человека новых советских качеств.

Улыбнулась глазами.

— Позвольте мне рассказать вам еще об одной профессии. О скромном труде учителя...

А когда после беседы шла по коридору, ее догнала и остановила Юлдуз:

— Товарищ Егорова!.. Никому не говорила. Учительницей хочу быть...

В другой раз была на уроке русской литературы. Изучали «Евгения Онегина». Увидела, как много незнакомого, непонятного несла каждая строчка: уединенные поля, дубравы» нивы золотые, сельский досуг, крещенский вечерок, очарование русской зимы, как чужд в силу этого образ Татьяны, и Ленский, и сам Онегин. Что, собственно, могло дать объяснение учителя, что помещик — это дворянин, имеющий крепостных и имение, объяснение, которое не раскрывало понятия, а вводило в него добавочно новые неизвестные.

Увидела, что дело может свестись к формальному пересказу событий: «Потом вышла за генерала»...

Энциклопедия русской жизни начала девятнадцатого века.— Нельзя не знать ее! Долго разыскивала альбом по роману, достала репродукции картин с русским родным пейзажем. Нашла пластинки с письмом Татьяны и письмом Онегина. Мучительно вдумываясь, перечитала текст. С улыбкой вспомнила, как легко и просто давала она уроки по Онегину в восьмом классе. Сейчас с иной новой точки зрения нужно сделать отбор, осветить факты, нет, не с новой точки зрения, она не может меняться, она должна быть одна, но вот методика изложения должна быть качественно новой. Волновалась ужасно. Казалось по началу, что еще недостаточно подготовилась, боялась срыва, но увидела, как вздрагивают губы Юлдуз, как не отрываясь смотрит на нее Умар, наклонившись вперед, боясь пропустить хотя бы одно слово, — увидела гордость за себя в золотистых глазах Анвара — успокоилась. Как могла она волноваться, думать, что не поймут ее.

Вот они, гиганты русской культуры — Пушкин, Чайковский, Шишкин, Левитан... Слушайте, ребята, смотрите, поймите русскую жизнь, полюбите ее, как полюбила я вашу, в одну общую сливаются они сейчас, как реки, одна большая, другая маленькая, впадают в океан, великий, могучий океан будущего.

После этого дня все чаще и чаще обращались мысли Анвара к золотоволосой нежной русской женщине. Как богатый цветок, раскрывалась перед ним ее душа. Гибкие, новые мысли живут в ее сознании, много чувств волнует ее сердце. Много городов и людей видела она, много книг прочитала и от всех, как пчела с цветов, сложила мед в соты сердца. И глядясь в глубокие глаза ее, можно видеть весь мир, богатый и прекрасный. Когда она рядом, крылья хочется иметь Анвару, расти, расти, стать могучим, сильным, умным, сказочно доблестным. Может быть, тогда... Нет, зачем он ей, — обрывал Анвар свои мысли. — Все равно пройдет полгода, год, вернется к себе... И тогда откуда-то из самых тайников сердца выходила мысль: а разве здесь мало дел, разве здесь не советская земля?..

Сейчас Наташа очень много помогала Анвару, а так как не установились и другие дела, то время приходилось выкраивать. Забегала на час — два днем, чтобы побывать на уроках, работала вечерами.

Прослушаны были по два — три урока у каждого учителя, поделилась впечатлением, уже ясно было, какие недостатки нужно было устранить, что закрепить в практике работы, какие общие требования выдвинуть. Анвар внимательно следил за каждым шагом и словом Наташи.

— Я сам сейчас школу прохожу, — говорил он ей

Наташа видела, как жадно схватывает он новое, как стремится к нему. Видела, что он сам до ее прихода справился со многим, знает, что значит обеспечить условия работы, есть у него чувство внутреннего такта в ее организации. Как учителя, его не знала.

— А когда же ко мне на урок? — спросил, наконец, Анвар.

— Что у вас сегодня?

— По Конституции «Суд и прокуратура», а по истории в десятом классе «Заветы Ленина».

— Побуду в десятом.

За уроком села на последней парте, открыла тетрадь, но карандаш застыл в руке, отдалась течению урока, ходу своих мыслей.

Скупыми, сдержанными словами говорил Анвар о последних днях Владимира Ильича Ленина. Деталь, еще деталь... Вставал живой образ человека, сосредоточившего в себе великие заботы, поднявшего на плечи груз прошлого и будущего. С глубоко скрытой болью в сердце сказал о смерти Ленина. Вздохом ответил класс. Мазками, один за другим, тревожными, сильными стал набрасывать картину горя страны. И снова взволнованно слушала Наташа давно знакомый рассказ. Вздрыгнула: рубленый, резкий ритм стиха — да, это Маяковский, хорошо сделал Анвар, что приводит эти строки:

Знаменные
снова
склоняются крылья,
Чтоб завтра
опять
подняться на бой...

И той же силой, и той же страстью звучат стихи Маяковского в переводе...

И вот самый важный, самый существенный момент урока:

— Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам...— Торжественно звучат слова клятвы в замершем классе.

Наташа обводит класс глазами: это вам придется еще и еще, всю свою жизнь выполнять великую клятву. Она дана на века. Она уже выполнена, эта клятва, но всегда мы будем следовать ей.

— Клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы выполним с честью и эту свою клятву!..

И вот разворачивает Анвар перед классом картину роста и процветания Родины, но на ясном небе рассказа нависают черные крылья войны. Нет, стальной стрелой вопьется в грудь врага победа, хлынет черная кровь его, надломятся крылья, рухнет коршун. И снова строить, крепить, выращивать!

— Ленин не только наше вчера. Ленин — завтра! Ленин всегда живет!

Анвар помолчал:

— Может быть, будут вопросы?

и снова поток жизни грозил умчаться в разные стороны. И может быть, не встретятся больше никогда. И никогда не вспомнит она о нем. Кто поможет ему в труде? Кому будет светить в далеком краю ее нежная красота, кого вдохновит она? Но неужели не дрогнет сердце ее прощаясь, пусть не с ним прощаясь, с родным ему краем? Неужели не успела полюбить этот край, не увидела, сколько сил еще нужно вложить в него. Внутренне усмехнулся: труд везде. С родным городом связывает ее вся жизнь. Здесь она полгода, так может ли быть у нее иное решение. Зачем напрасно обманывать себя надеждой на то, чего все равно не будет, что несбыточно. Пусть едет... Пусть будет счастливой там, где привычней и легче ей...

Но и чувства Наташи двоились. Большая радость, большое счастье... А вот уехать? Она задумалась... Видела всходы своего труда здесь. Много успела понять и полюбить. В жизни привыкла выбирать трудную дорогу, больше удовлетворения давала она. Зачем жила она здесь?

Только пережить грозу, а потом уйти, забыв о том, что увидела много дела. А разве там нет дела, — строго спросила себя, — «восстановление». Какое большое, требовательное и зовущее слово. И снова задумалась: там тысячи, здесь еще сотни... Родина, не каждый ли шаг тебе, каждое дыхание... Здесь или там!..

Вдруг успокоилась. Вызов... Пройдет два — три месяца. Можно будет решать. Взглянула на Анвара. Нежной грустью светились его глаза. А может быть, это только показалось ей. Конечно, показалось. Весело блестят они, и тогда чуть грустно становится Наташе: неужели все равно ему — уедет или останется она.

* * *

Товарищ Саттаров оживленно обсуждал с Ивановым открытие нового детского дома: — Большой подарок сделали учителя города фронту.

Вспомнили Еризбека. Уже месяц назад послали ему смену. Ожидали его возвращения.

После ухода Иванова задумался, начал перебирать письма и бумаги и вдруг даже привстал от радости: письмо от Джурабаева. Вот кого надо скорее сюда, вот кто гибко и полно ощущает время, связь людей и явлений. Быстро разорвал конверт...

«Мадамиджан.

От тоскующего по родным местам своим привет, от тоскующего по друзьям своего сердца привет... Вчера получили с письмами, газетами, книгами, посылками отдых для души. Словно дыхание родного ветра долетело до нас. Большое спасибо вам, старший друг мой и брат, за ваш привет и призыв. Начну с этого, с главного. Я рад приезду Юлдашева, это крепкий помощник, но, простите меня, первый раз иду я против вашей воли, сам я не уеду до конца.

Уехать сейчас нельзя. Я уже писал вам о нашей жизни, о наших трудностях и небольших победах. Наша партийная организация растет, в ней уже 62 человека, из них 27 приняты в кандидаты здесь на месте, каждый из них дорог мне, вижу, что еще растут достойные. Здесь не легко. Здесь просто трудно. Мы работаем в мороз, мы работаем в буран, мы изо дня в день повышаем выработку и качество работы. Здесь все непривычно для каждого: ветер горстями бросает в лицо мелкий злой снег, мороз перехватывает горло, в солнечный день снег слепит глаза, но не теплее, а холоднее становится в солнечный день. Где-то совсем близко ночами воют волки. Я очень мрачно пишу? Но это так. А работа! Я неделю стоял наравне с пильщиками, потом с лесорубами. Кто-то пустил слух, что нормы просто невыполнимы, никогда, ни при каких условиях. Я на себе знаю, что это такое. Я еле добирался до барака, с телом, налитым усталостью, не чувствуя ни рук, ни ког, я не мог ужинать, сваливался и мгновенно засыпал, а ночью все то же: наклон сосны, визг пил, хруст ветвей и усталость, страшная усталость. Утренняя побудка казалась ошибкой, за окном темно, совсем темно, не отдохнули мускулы, не распрямляется спина, не встать, просто не встать. И снова день напряженной работы. И все-таки мы научились выполнять и перевыполнять дневную норму. Мы научились расставлять пилы, выкраивать время для отдыха, для учебы, для песни. Дело, друг мой, в опыте.

Я счастлив доложить Вам, что с 1-го февраля наш шестой участок лесоразработок держит переходящее красное знамя.

Недавно мы пережили тяжелые дни. Были среди нас такие, которые думали больше о доме, чем о труде. У нас были пластинки Халимы Насыровой, мы вместе читали газеты на родном языке, «Фархада и Ширин», «Лайли и Маджнуна», мы вспоминали нашего славного, никогда не унывающего Насреддина, мы отдавали танцу свободный час. Но только усилились разговоры о семье и горячем солнце Узбекистана. Все это ложилось на одну чашку весов, а на другую я не положил ничего и не уравновесил, честью.

Однажды утром подошел ко мне Мусабаев и, пряча глаза от меня, сказал:

— Нехватка в моей бригаде. Пяти человек нет. Затосковало их сердце и ушли они отсюда.

Вечером в бараке было тихо, казалось, что люди прячут друг от друга свои мысли, а на утро нехватило еще семерых. На следующий день перед завтраком я выдавал наряды. «Мусабаев», — крикнул я. Сразу тихо стало в бараке, и никто не откликнулся на мой зов. Шатаюсь от злости и обиды, вышел я из барака: за три дня тринадцать человек, а что будет завтра?

Рахим заводил машину, чтобы ехать на карьер. — «Поезжай на станцию!» — сказал я. «План», — ответил он мне — «За срыв отвечу сам». Рахим сел за руль. «Скорее, скорее!» — гнал я его. И вдруг остановка. Торопливо жду. — «Перегорел конус», — хмуро говорит Рахим, — «Машина не пойдет». Выскакиваю из кабины, иду. — Кричит сзади Рахим, но я иду не оглядываясь. По дороге

идти легко, она укатана. Потом начинается снег, потом ветер. Вьюжит. Где остается дорога? Я иду, по пояс проваливаясь в снег, ничего не соображая от усталости. Почему я не заблудился, — не знаю и до сих пор. Вдруг снова телеграфные столбы, дорога, станция... Я все-таки попал туда раньше Мусабаева. Я встретил его на дороге. Он увидел меня, хотел что-то сказать. Я выхватил револьвер, направил на него, приказал повернуться и идти назад. Он говорил, что устал, что шага сделать не может. Я был способен убить его, он почувствовал это и пошел впереди меня. Он действительно устал, он падал, и я заставлял его снова подниматься...

Зажглись звезды, когда мы вошли в барак. Было время ужина. Только тут почувствовал я, что устал, измучился и, как Мусабаев, готов тоже упасть на землю. Пламенем пылало обветренное лицо, холод свел пальцы.

Я поставил Мусабаева посреди барака, поднял револьвер.

— Я могу убить тебя, дезертир трудового фронта, бывший бригадир и бывший товарищ наш, и я буду прав.

Я опустил револьвер.

— Смотри в глаза честным людям, волк! — сказал я. — Вот ушло тринадцать. Их работа ложится на плечи оставшихся. Кому достанется твоя работа, может быть, самому старшему из нас дедушке Юсупу или самому молодому Парпибаю. Ты думаешь, что они сильнее тебя, их не тянет к семье? Из-за тебя должны они будут позже сесть у очага родного дома.

— Оскорбивший отца, — сказал я, — будет презираться людьми, оскорбивший мать будет нуждаться в куске хлеба. Что будет с оскорбившим народ, с обманувшим доверие его в трудный час?

Я подошел к двери, широко распахнул ее, и белым облаком ворвался в нее морозный пар.

— Уходи, — сказал я, — нет у тебя больше чести.

Потом я подошел к своему месту на нарах и лег лицом к стене. Кто-то поставил рядом со мной котелок с ужином и стакан водки. Я отодвинул ужин и залпом выпил водку, не почувствовав ее горечи. Кто-то накрыл меня одеялом.

Мусабаев не ушел, он работает так, что непонятным кажется и мне, где находит он силы. И ни один не ушел больше.

Как же я могу уйти отсюда? Нет, дело, начатое здесь, доведу до конца. Это не только кубометры, леса, это удар по зрагу на фронте. Это душа Мусабаева, Парпибая, Юсупа и каждого из пятисот. А воспитание сердца их — тоже удар по врагу.

Наверное в мае будем мы... назад. Готовьте больше дела. С волнением читаю в газетах о Фархадстрое. Решен ли вопрос о нашей городской ГЭС? Все чаще возвращаются мысли к ней.

Я утомил вас своим длинным письмом, но я привык уже делиться с вами всем, чем полно мое сердце. Если найдете время, ответьте хоть немного мне и, очень прошу, напишите всем. Ваше прошлое письмо читали, обсуждали и все были очень взволнованы приветом от вас.

С сердечным уважением:

Ваш младший брат Еризбек Джурабаев».

Бережно сложил письмо: надо передать завтра Иванову, вызвал секретаря.

— Соедините меня с Ташкентом. Буду говорить с Отабаевым или Васильевым.

Через десять минут звонок.

— Товарищ Васильев? Как же дело с нашим проектом строительства ГЭС. Я давал подробный материал. Строить будем силами общественности. Расчеты и сметы представлены... Что? Так ответ положительный? Ну, конечно, он не мог быть другим. Когда? Начнем с мая копать котлован... Успеем... Распорядитесь послать нам решение... Выясню обязательно и немедленно выясню... Нет, не отзовется... На Фархадстрой все, что нужно, дадим!..

* * *

Торжественное собрание подходило к концу. Анвар сидел в президиуме рядом с Каримовым, рядом с Таней, а мысли его с Нагашей. Ничего, что она сидит не на сцене, а внизу в первом ряду. Все равно понимали друг друга с первого взгляда. Не сказали еще ни слова о своей любви, а глаза вели разговор, счастливый, понятный только им двоим.

Рассказывая Каримов об успехах наступления на фронте.

— Хорошо, — говорил взгляд Анвара.

— Хорошо! — отвечал ему взгляд Наташи

О восстановительной работе в освобожденных районах говорил Каримов, и тревогой загорелись глаза Анвара.

— Разве здесь мало дела, разве работа здесь не дает пользы? — спрашивали они.

— Я знаю, — горячим блеском отвечали глаза Наташи.

Перешел Каримов к достижениям в работе школ, назвал директора школы № 5 Камалова, опустил Анвар голову, не смотрит в зал, но ищет встречи с его глазами полный счастья, гордый им взор Наташи и быстрым сиянием из-под красивых длинных ресниц отвечает:

— Спасибо!

Сколько могут сказать глаза, когда мысли одни, сердце одно, радость одна, как понятна вся тревожная и огневая окизнь их.

Вдруг Анвар приподнялся, забыв и о Каримове, и о Наташе. Наташа быстро оглянулась в направлении его взгляда, но ничего не увидела, снова повернулась к Анвару, чтобы прочесть ответ на его лице.

Но Анвар быстро спускался со сцены. За открытыми дверями какое-то движение. Анвар прошел через зрительный зал, он торопился и не верил себе. Ведь еще вчера вечером кто-то сказал ему, что видел Джурабаева, входившего в Обком, — не поверил. Думал, что будет телеграмма, встреча, что родные, друзья раньше узнают о его приезде.

Да! В центре плотно сомкнувшегося кружка Джурабаев.

— Еризбек!

Джурабаев... Джурабаев, похудевший, изменившийся, но с той же складочкой на высоком лбу над прищуром ясных горячих глаз, с тем же твердым очерком губ, такой же родной и долгожданный. Он не успевал отвечать на приветы окруживших его людей. Но уже сам задавал вопросы, сразу и активно включившись в работу коллектива.

Услышав возглас Анвара, повернулся, обнял, крепко и сердечно.

* * *

И снова говорил Каримов о задачах школы в период весенних испытаний, о подготовке школ к новому учебному году.

Потом читали приказ с именами лучших...

Открытым был взгляд Наташи, отвечая радостному блеску глаз Анвара: разве не самая большая радость возвращение друга, разве не знает она, что большое и важное дело для фронта сделал Еризбек, что и здесь сейчас много хорошего ждут и получают от него люди.

На повестке дня был второй вопрос, собственно говоря, даже не вопрос, а объявление.

Узнав об этом, Джурабаев попросил у Каримова разрешения сделать объявление.

— Товарищи! Материнское сердце у народа, много детей имеет оно, каждого равно и жарко любит. Дети народа — большие дела его.

Надо сражаться с врагом, надо выращивать хлопок на полях, надо строить Фархадскую ГЭС, надо развивать промышленность, надо, чтобы расцветала культура. И во всем этом — сердце народа.

Мы отвечаем за свой участок и за участок соседа, и за общий расцвет нашей земли, и защиту ее от врага.

Вот вы, советские учителя, у нас есть гордое чувство ответственности за свою работу, сейчас все мы увидим ее урожай, ибо молодость дает урожай в солнечную пору весеннего цветения. Я знаю уже, что хорошие дела есть на вашем счету. Больше ста новых учителей готовите вы, на замену ушедшим в армию. Вашими силами и заботами создан детский дом детей фронтовиков — ваш подарок фронту; вы честно участвовали в трудовых буднях города, вместе с детьми собирали осенью хлопок, в горячую пору помогали ликвидировать прорывы на промышленных предприятиях города, вы послали бригаду для участия в строительстве Фархадской ГЭС, и все это, не забывая основной своей работы — воспитания молодежи, ибо знали, что главное в ней — воспитание патриотов, а воспитывать патриотов вне практических дел невозможно...

Сейчас перед городом стоит большая задача. Наше ходатайство о строительстве ГЭС удовлетворено.

Подождав, когда утихнут рукоплескания, продолжал:

— Кто будет строить ее? Мы с вами: город и пригородные колхозы.

Я не буду говорить вам о значении строительства ГЭС для города — вы не хуже меня знаете это. Я не буду призывать к ударной работе на ГЭС, она не может быть иной. Есть ли у нас опыт? — Нет, но будет. Да, пожалуй, и есть. Разве не опыт для нас размах и общественный подъем вокруг Фархадстроя, трудовой подвиг лучших сынов узбекского народа? Разве не легче воспроизвести большее в меньшее? Нам не надо копать канал. Он у нас уже есть, — это легче, значительно легче.

Я не скажу вам, что в деле народном, честно и хорошо выполненном деле, отражаются богатства народной души. Вы сами знаете это. Наш Ферганский канал — вклад в историю советской страны, вся страна знает ферганский метод.

Фархадская ГЭС — новый вклад узбекского народа в будущий мирный расцвет страны, и меньшим, гораздо меньшим, но тоже вкладом будет наша ГЭС. Сердце наше полно любви к родине, и руки наши полны желанием украшать ее. Непрерывно возделывать плодоносную землю Отчизны, дать ей воду и свет, огонь и сердце свое...

Я не буду рассказывать вам о том, что предстоит нам сделать. Я знаю, что говорю с людьми, которые любят родную землю и труд и дорожат своей честью советского человека.

Я просто спрошу вас: сумеем ли мы каждый выходной, начиная со второго мая, отдать работе на ГЭС, сделать это так, чтобы к осени, к Октябрю, закончить все земляные работы?

И я отвечу за вас сам, потому что я знаю ваше сердце и честь, сумеем, сделаем!

* * *

Над степью вставало солнце. Лучи его еще только окрашивали края дымчатых, топазовых облаков оранжевозолотистым сиянием. Краски земли и голубизна неба еще только получали свой внутренний блеск и жизнь. Рождались блики, отсветы, оттенки на зелени. Еще минуту назад свинцово-серыми были воды Янги-арыка, но уже засверкали, заискрились, заструились блеском.

Вспыхнуло солнце в ярком пламени знамен, обогатило пестрые краски одежд, и люди улыбнулись солнцу. Люди шли с песней. Степь жила непривычной для нее жизнью.

Шумный поток людей стремился в одном направлении по пути к колхозу имени Фрунзе. Пролетали, поднимая клубы пыли, грузовики. Они несли на себе смех и песню, блеск кетменей и лопат. Медленно, скрипя колесами, двигались арбы, нагруженные деревянными носилками.

И по-дороге, мимо прямой, как стрела, ленты Янги-арыка, и по извилистым тропинкам под тутовниками, и через сады, сокращая путь, шли люди. Нет, шли коллективы людей, чтобы слиться в единый коллектив, шли со знаменами, с песней, шли на труд, как на праздник.

Наташа и Каримов ехали на фаэтоне. Таня уехала раньше машиной. Наташа почти не слушала того, что говорил ей Каримов. Полной грудью вдыхала она воздух, такой свежий, освежающий ароматом проснувшейся земли, ароматом садов. Она и по сторонам, пожалуй, не смотрела, не отмечала мыслью ничего. Нет, просто сердце слилось со всем окружающим. Свежесть рождения солнечного дня, праздничное оживление степи и людей. Голубоватая дымка у горизонта, придорожный горьковатый запах полыни, осыпанные желтыми и красными огнями ягод черешни, тихий плеск Янги-арыка, коршун, повисший в небе, уже совершенно голубом, — все это было свое, личное. Оно навсегда будет дорого, никогда не изгладится из памяти. Никогда не уйдет из сердца любая черточка этого полного сияния красками, движением и радости утра.

Поравнялись с колонной школ...

— Здравствуйте, товарищи учащиеся; — крикнул Каримов.

Навстречу привету улыбки, блеск глаз. Вот спокойная красавица Юлдуз, — она будет сегодня впереди, никто не сравняется с ней в ровных неторопливых движениях, где нет усилий, где есть только результат.

Вот Умар, он успел уже по дороге рассказывать о практике всесоюзных субботников, вот весельчак Абиджан, готовый со всей страстью отдаться работе... и Хамид здесь, ему тоже не дадут отстать.

Наташа на минуту нахмурилась, привстала — зачем было брать десятиклассников, им к экзаменам готовиться надо. И сейчас же улыбнулась, а кто может лишить их права участвовать в празднике народном. Хорошо сделал Анвар, что взял их. Пусть не выучат несколько страниц сегодня, не отложит сегодняшним днем что-то в сердце каждого, поднимет над обычной жизнью и тогда потом осмысленней и легче воспримут эти страницы. Глазами нашла Анвара. Золотистые лучи солнца окружали его. Он шел сбоку колонны, легкий, в шелковой белой косоворотке, перетянутой широким ремнем, в коричневых сапогах и галифе. Штатская одежда казалась на нем военной

формой. Что-то крикнул ему Каримов, взмахнул рукой, предлагая подвезти, но еще раньше, чем отказался Анвар, знала Наташа, что не уйдет он от своих ребят.

Она и сама бы сейчас с таким удовольствием шагала по просыпающейся степи, сливала свой шаг с ритмом шагов товарищей, свой голос с их песней. Именно в коллективе хочется быть, вместе переживать каждую мысль и чувство.

Крикнула Анвару:

— На стройке встретимся, товарищ Камалов...

* * *

Еризбек приехал на стройку первым. Он волновался, верил отзывчивости сердца народного и все-таки волновался. Не потому, что боялся срыва. Не будет его, не может быть там, где смыкается воля партии и народа. Волновался от ожидания радости, волновался, готовясь встретить ее.

Еризбек стоял над глубокой рытвиной, здесь будет котлован; повернулся к арыку, откуда тянуло свежестью — твои воды родят огни. Поднял глаза к небу. На нем сквозящий месяц еще не растаял в блеске солнечного дня. Сейчас встанет солнце над ним, Еризбеком, над степью, над миром... Взглянул на часы. Плечи передернула свежесть. Вряд ли раньше, чем через час придет кто-нибудь. Пошел к чайхане. Чайхана стояла под огромными тутовниками. В сероватой предрассветной мгле казались они почти черными. Дверь чайханы открылась. Зевая и потягиваясь, вышел оттуда Сафар, направляясь к арыку.

Увидев изумление Еризбека, засмеялся, объяснил:

— Боялся, что обгонит меня молодежь, с вечера пришел сюда.

— Вы в каждом деле первый, отец, — дружески ответил Еризбек.

— Не один я здесь, — продолжал старик, — зайдите в чайхану.

Еризбек наклонил голову, чтобы пройти в низкую дверь чайханы. Остановился у порога.

Чайханщик наливал самовар, на столе еще горел фонарь, но лучи его скрадывались полумглой в углах, где на паласах спали люди. За покосившемся деревянным столом сидел Иван Васильевич, погруженный в расчеты.

— Вы что, товарищ Шевченко, — тоже с вечера здесь?

— Думки спать не дают, Еризбек Джураевич... Стариковские думки, беспокойные...

— Хозяйские, — поправил Еризбек.

— Похозяинуем, — расправил рукой усы Иван Васильевич. — Я сейчас далекие дни вспоминаю, Еризбек Джураевич. Хлопчиком был, когда остался без отца сиротой. С братаном рос, в депо братан работал, в девятьсот пятом в тюрьму попал, и остался я на шестнадцатом году совсем один. Трудно становилось — повторял отцовское присловье: живой буду — доли добуду. И рано понял: нет у человека отдельной доли от народа. Одна у них доля. Тяжко народу — человеку горько. Хочешь счастья себе — трудись для народа — вот основа нашего советского, вот почему все дела наши так близки нам, вот почему сделаем каждое из них. Душа вон, а сделаем.

— Зачем же душа вон, Иван Васильевич, — мягко улыбнулся Еризбек, — нам еще много трудиться и радоваться впереди.

Чайхана просыпалась. Восклицания, приветствия. Растроганно смотрел Еризбек на людей: они хотели со свежими силами придти на работу, боялись недодать хоть десятую долю своей силы. И не задавал себе вопроса Еризбек, что привело сюда Сафара и других стариков. Естественно и просто было это. Они должны были придти, не могли не придти... Каждый по своей воле.

Выходя из чайханы, обернулся к Сафару:

Ну что ж, отец, принимайте команду. Пусть бригада стариков покажет, как надо работать. Иван Васильевич, отводи участок...

А когда Иван Васильевич проходил мимо, шепнул ему:

— Полегче им работу надо дать...

Подшли к месту будущего котлована. Остановились. Еще несколько минут тишины и движение обрушилось на них. Остановились грузовики, люди выпрыгивали из машин, распределялись на бригады. Подходят колонны, сотни, тысячи людей. Казалось, что наступит неразбериха, путаница, что неизбежна она в такой массе людей. Но недаром просидел ночь Иван Васильевич. Каждый десятник знал свой участок, знал какие организации будут у него, каждой из них отвел работу.

Уже начинали копать, когда раздался звонкий голос Еризбека.

— Товарищи, в дни великой народной войны начинаем мы народную стройку...

Те, кто стоял впереди, слышали Еризбека. Обязывающими, торжественными были слова. Те, кто стоял вдали, не слышали слов Еризбека, не знали, о чем он говорит. И этим неуслышанным и известным словам отозвалось сердце.

Еризбек кончил. Строгий и прямой, стоял он, слушая звуки гимна. И сердца людей отзывались гимну, каждое по-своему и все как одно.

А через час уже наметились границы котлована, тропинки, вдали от котлована начали расти земляные холмы, делом стало слово, наметилось в нем, проглянуло будущее...

Когда Каримов сказал Наташе, что она должна зарегистрировать явившихся и вести учет работы, она почувствовала себя растерявшейся и почти оскорбленной. Вздрогнули губы. Таня заметила ее обиду.

— Что ты, Наталка, ведь это нужное дело, оно организует людей.

Обрадованно бросилась к ней:

— Танюша, хорошая моя, возьми за это... Организовывай, пожалуйста, а я по-другому буду...

Таня серьезно взялась за дело. Скоро потребовалась людям вода. От школ работало около пятисот человек. Нужно было, чтобы не стояли носилки, сменяли люди друг друга, — и во всей этой живой, цепкой и нужной сутолоке закружилась Таня.

А Наташа копала, перебрасываясь шуткой с окружающими, расправляла сведенные усталостью плечи, откидывала слипшиеся волосы со лба, с нагруженными носилками шла от котлована, по дороге говорила с десятками людей:

- Не устала еще, Юлдуз?

— Как хорошо работает ваша школа, товарищ Гончаров!

— Опять встретилась с вами, Майя!

— Вас не догонишь, Рустам Камалович.

И если Таня нужна была коллективу как разум, то сердцем его была Наташа, оживленная, радостная, успевавшая появиться и здесь, и там, не зная устали в работе. А она была, эта усталь, только здоровая, счастливая...

И когда однажды сбросила землю с носилок, усталая и бесконечно счастливая, потянулась, широко раскинув руки, чтобы еще раз зарядить себя бодростью, вдруг стало тревожно и больно. Анвар! Неужели он вынужден только присутствовать здесь, неужели не дано ему изведать этой радостной усталости. Тревожно обвела участок школ глазами. Если так, то очень грустно ему сейчас, нужно сказать ему что-то приветливое, чем-то порадовать его. Где же он? И прямо навстречу ей шел Анвар. Он знал, что не может копать. Он носил землю мешком. Он был не один. Носилок вообще не хватало. Это не выделяло его из массы. Он работал как все, может быть, лучше многих. Требовал, чтобы насыпали больше земли. Наклоняясь, рывком вздергивал мешок на плечо. Улыбался встречным, шел быстрым шагом, возвращался назад, напевая что-то, помахивая пустым мешком и снова бросал его на землю!

— Моя очередь!

И только Наташа, встретясь с ним, поняла мгновенно, несмотря на его улыбку, на прямой не согнувшийся стан — как тяжело ему, сколько воли надо, чтобы скрыть это. Он нес мешок только одной рукой, не имея возможности поддержать его. Мускулы дрожали, напрягаясь, пальцы цепенели.

Нежным блеском ответил взгляд Наташи скромному мужеству его, не обидела жалостью.

— Товарищ Анвар, принимайте меня в бригаду! — весело зазвенел ее голос.

Встречались, расходились и снова встречались.

— Не тяжело вам, товарищ Наташа?..

Почему со знаменем идет Еризбек? Вьются и пламенеют складки шелка.

— За лучшую явку и лучшую работу коллективу учителей и учащихся города...

Воткнуто древко в землю. То повиснет в летнем зное, то расправится полотнище в порыве ветерка. Четче становится шаг, когда проходишь мимо знамени, легче тяжелая ноша и еще бодрее на сердце...

* * *

А вечером были в парке. Наташа сама не знает, как согласилась на взволнованную просьбу Анвара. Раскаивалась, собираясь, но было уже поздно: не возьмешь слова назад. А в парке не жалела, что пошла.

Вечер хороший. От политых водой дорожек, от освеженной земли тянет прохладой. Загораются желтым и неуверенным светом еще ненужные фонари. От театра раздается зовущий требовательный настойчивый звук корная. Сладко тянет розами с газонов.

Говорили о школе, о сегодняшней работе на ГЭС, о новых статьях Эренбурга — каждая была событием в те дни, — и о самом главном: о войне и будущей победе.

Анвар сорвал две розы, свежие, ароматные.

И от того, что у него в петлице и у нее в руках были одинаковые розы и от того, что почувствовала себя молодой и красивой, стало радостно, дышалось легче. Наташа любила в себе это ощущение радости, когда походка делалась уверенной и легкой, каждый жест ловким и привлекательным, каждое слово — к месту.

Дошли до танцплощадки.

— Танцовать будете? — блеснул глазами Анвар.

И как только предложил ей это, Наташа поняла, что только этой капельки нехватало ей сейчас... Но осторожно бросила она взгляд на перевязанную руку Анвара.

— Она не помешает, — улыбнулся он.

Оркестр заиграл. И заиграл не фокстрот, не танго, а вальс, любимый, столько времени не танцованный вальс.

Анвар танцевал хорошо. Так хорошо было закружиться, так легко и нежно вздымались белые волны шелка у колен, так легко скользили ее туфли, словно богаче и легче стал вальс после долгих лет, когда она танцевала его.

Лицо Анвара такое знакомое, и вместе с тем такое новое было на уровне ее лица. Золотистые глаза Анвара светились нежностью.

Он обнимал ее только одной рукой. И это тоже было хорошо, особая гордость была в этом для Наташи.

* * *

Шли берегом Янги-арыка. Тихий плеск воды. Серебряная лунная дорожка. Куда звала она? В какой серебряный мир уходили они? Свеж и ласков был пронизанный лунным светом, напоенный ожиданием счастья воздух. На секунду укрывала их четкая тень дерева, близким и родным становилось в полумраке любимое лицо, снова выходили на свет, и таким красивым становилось оно.

Удивительно тихо было вокруг. Как будто все прислушивалось к радости их, все замерло, все затихло. И только в сердце зрела песня, которую тысячи и тысячи раз будет петь сердце двоих.

Шли молча. Но разве не в ней были мысли его, и не в ней ее мысли?

Крутой поворот делал Янги-арык. Глубоко внизу текли серебряные воды. Звезд не было на небе. Только луна, излучавшая сказочный свет. Может быть, этим светом и окрашено счастье? Может быть, сияние его было в глазах Анвара, когда склонились они, отражаясь в голубом небе глаз Наташи. Как горячи, как нежны губы любимого. Может быть, «е губы эти встретились, сливаясь в медленном пламени поцелуя, может быть, это встретился плеск воды с лунным светом, серебряный край неба с цветущей землей.

— Анвар!

— Наташа!

* * *

Как тихо он шел! Как тихо! Мелькали мосты, будки, полукругом разворачивались сады абрикосовых и персиковых деревьев, веером сходились у горизонта прямые линии хлопковых полей, серебряной строчкой на зелени вспыхивали под солнцем арыки, возникали и исчезали города и кишлаки. А время словно остановилось. Произошел какой-то разрыв времени и пространства. Пространство поглощалось колесами поезда, значит, должно было лететь вперед, стремительно подгоняемое ударами сердца время, но время застыло, а значит, движение в пространстве было почти миражем. Наташа делала все, чтобы ускорить полет времени: пыталась вглядываться в спутников по вагону, прислушиваться к их разговорам — напрасно, они сегодня не были интересны ей. Наоборот, ей мешал медленный темп рассказа сидевшего напротив нее человека средних лет в красноармейской форме. Он похлопывал себя по колену, с удовольствием затягивался махоркой, делал перерыв, чтобы скрутить самокрутку, ловко управляясь одной рукой, и снова продолжал тенорком:

— Лежал я в Каменно-бурунском городе, а потом направили нас в глубокий тыл, а там, по ранению в чистую выбыл. Приехал в колхоз...

Люди слушали его с удовольствием, сбившись в купе, но Наташа просто не могла слушать. Она выходила в тамбур. Начинала считать мелькавшие мимо столбы. Но как только начинала считать, они уже не мелькали, а проплывали мимо все медленнее и медленнее.

На остановках спрыгивала на перрон, хотелось двигаться, чтобы обмануть себя и время. Но сделав несколько шагов в толпе, шумно атакующей вокзал, возвращалась назад: казалось, что так скорее пойдет поезд.

Соседи по вагону заметили состояние Наташи.

— Что-то беспокойно у тебя на душе, девонька, — заметила крепкая старушка, ехавшая из Ташкента к дочери в Учкурган.

Наташа вскинула голову, готовая ответить. На минуту захотелось рассказать всем о своей радости, захотелось, чтобы вот так же, сомкнувшись в тесный круг, вместе с ней порадовались люди. Но сейчас же встал вопрос: а правда ли, есть ли у нее радость? И словно боясь спугнуть ее, подходящую неслышными шагами, снова притаилась, замкнулась в себе, решая снова и снова вопрос о том, нашла ли она сына.

* * *

Когда Наташа второй раз поднималась наверх, она еще не надеялась. Просто Тамара Аркадьевна права. Самой просмотреть все списки. Может быть, какая-нибудь ошибка в записи. Может быть, что-нибудь натолкнет на васин след. И вместе с тем, какая же могла быть ошибка? Вася же прекрасно знал свое имя и фамилию.

— Как тебя зовут? — спрашивал отец.

- Василий Андреевич, — важно отвечал мальчуган. Он стоял в длинных брючках, по-потешному взрослый.

— А фамилия твоя как?

— Егоров, вот как!

— А папу как зовут?

— А папу — Андрюша, а маму — Наталочка.

Списки ей дали без всяких возражений. Здесь привыкли к материнской потребности самой убедиться до конца. Раскрыла первую книгу. Сколько в ее "Страницах, уже перелистанных тысячи раз, сколько в них скрыто. Каждая запись, простая и краткая — итог большой драмы, о каждом имени можно рассказать печальную повесть. А в какой из записей скрыта радость встречи. А сколько здесь будущих знаменитых имен страны.

Егоров Иван, 10 лет, Киев, отец на фронте, мать погибла при бомбежке, детский дом № 5, Андижан.

Егорова Екатерина, 5 лет, Краснодар, отец и мать на фронте, детский дом № 27, Тюря-Курган...

Егоров Георгий...

Есть Егоров Виталий, Егоров Михаил, Егорова Нина, Егоркин, Егоршина, Егоревский...

Она спокойно прочтет список до конца. Может быть, где-нибудь нарушен алфавитный порядок и после Майского или Семкина она прочтет: Егоров Василий, 5 лет. Если бы прочесть это! Потом она будет читать списки по именам, потом будет искать слово Ставрополь.

Шумной была жизнь здесь. Взволнованный стоял у стола высокий командир и держал руку Юлии Ефимовны.

— Нашел сына! Спасибо вам! Родная!

У стола бледный, прикрыв лицо рукой, сидел второй. И он нашел дочь, маленькую черноглазую Галинку с вишневыми губами, пухлыми маленькими ручками, певунью и шалунью, баловницу отца и матери... и матери... а рядом приписка: «отец на фронте, мать умерла в Ташкенте от тифа». Значит, никогда не будет встречи с женой, никогда не услышит ее голоса, никогда...

Радостный возглас:

— Юлия Ефимовна! Из Барнаула нам вчера письмо прислали о Житкове Владимире. Есть Житков. В Коканде на усыновлении. Сейчас обрадуем мать...

Вот и конец списка. Нет Егорова Васи... И снова открыты первые листы... Нет, что это! Нет, не может быть, не может быть! Просто совпадение... А вдруг не совпадение...

Рука мнет ворот платья, комната плывет перед глазами.

— Что с вами? — бросается к ней Юлия Ефимовна. — Вам плохо. Выпейте воды...

Не в силах произнести ни слова, указывает на строчку: «Андреев Василий, 5 лет, г. Ставрополь. Отец погиб на фронте, мать осталась на Кавказе. Наманган. Детский дом № 7».

Нет, конечно, это только совпадение. Как мог Вася стать Андреевым. И вдруг ясно рисует себе картину.

— Как тебя зовут? — спрашивают Васю.

— Василий Андреевич, — отвечает он. Голос его звучит тихо. Он измучен дорогой, потерей матери, всем пережитым, совсем неясно произносит он последнее слово. «Андреев?» — переспрашивают его. Слыша знакомое слово, мальчик кивает головой. И вот запись: «Андреев Василий»... Может это быть или нет? Нет, конечно, нет. И Наманган. Ну, если бы любой другой город. Но Наманган... Да она десяток раз была в седьмом детском доме. Как же бы она не смогла узнать сына. Если только с ним не случилось ничего плохого, если не случилось! Нет, Андреева Васи нет в седьмом детском доме.

Сколько раз она проверяла списки, составляя общегородской список. Каждый раз, когда писала имя «Василий» задумывалась... Разве могла она не заметить этого имени... А может быть, на усыновлении? И этого не может быть. Вещь есть списки всех усыновленных. А всех ли? Да, с того дня, как стала она работать инспектором, всех. А раньше? Вспоминала, как сама отчитывала директоров за плохое ведение дел. И директор седьмого детского дома Мария Ивановна была среди них. Андреев Вася? Андреев... Вася...

И все-таки как тихо ни шел поезд, как медленно ни тянулось время, но спустились сумерки, наступила ночь. Наташа лежала на второй полке, опершись подбородком на руки, вглядывалась в темноту. Большие яркие, словно нарисованные звезды сливались с далекими огнями, иногда проплывавшими в степи. В полуоткрытое окно тянуло ночной свежестью. Вася... Василек... Все отступило куда-то далеко. А вдруг завтра обнимет она сына. Какой он стал? Кто заменял ему мать, кто ласкал его, кто стал для нее самым близким, самым родным человеком за любовь к ее сыну?

Рассвет в степи. Неужели и в жизни ее рассвет, неужели счастье взойдет в ее жизни. Василек мой... Сын... Маленький...

И вот оно, оживание около котлована будущей ГЭС, вот переезд, вокзал. В толпе встречающих Анвар. Он напряженно вглядывается в окна вагонов подходящего поезда. Еще не видит ее. Вот встретились взгляды. Засияли глаза Анвара, бросился к вагону, крепко обнял ее, не зная, радоваться ли с ней или защищать ее от огорчения, от разочарования.

Наташа приникла к его груди.

— Анвар! Кажется, я нашла сына. Не знаю! — и вдруг поняла, что знает, чувствует, что Вася Андреев именно ее сын. — Нашла!

* * *

В детском доме им чуть ли не час пришлось дожидаться Марии Ивановны. Нет, в списках действительно не было Васи Андреева. Наташа сидела совершенно растерянная, подавленная. Тревожно вглядывался в нее Анвар, ловил на ее лице выражение, которое неисчерпаемой болью сжимало его сердце.

Разахалась вернувшаяся Мария Ивановна.

— Не может быть, Наталья Сергеевна! И неужели ни следа нет в наших списках. Знаете, в те дни такое время было. Иногда дети попадали на две недели, на десять дней. Конечно, это не оправдание. Может быть, воспитательницы помнят. Женя, — окликнула она проходившую мимо рыженькую девочку, — позови ко мне Нину Васильевну и Веру Петровну.

— А знаете, Мария Ивановна, был у нас Вася Андреев. Меньше месяца был. Его осенью усыновили. Кажется, в октябре.

— В октябре, ну, конечно, в октябре, именно в октябре. Но как же найти его?

— Где же он? — Анвар уже горячился, — где документы. Ведь это ребенок, человек. Не мог же он пропасть без следа...

Нина Васильевна мучительно старалась припомнить.

— Лучше думайте, — взволнованно торопил Анвар, он держал Наташу за руку, пожимая ее ласково, стремясь ободрить, успокоить. — Прошу вас, скорее думайте.

Вдруг лицо Нины Васильевны оживилось.

— А ведь вспомнила, честное слово, вспомнила! Взяли его старик-узбек с женщиной. Высокий такой, красивый, с седой бородой, а женщина молодая, без паранджи... Да неужели вы не помните, Мария Ивановна?

— Ну, конечно, помню! Его одели по-узбекски: красная тюбетейка, шелковый чапан, сапожки... Помню, помню, муж ее председатель колхоза. Только вот... фамилию забыла...

Анвар выпустил руку Наташи. Ахмеджан? Как мог он сразу не узнать. Нет, он не был похож на Наташу, пожалуй, ни одной общей черты, и все же Анвар знал, что это ее сын. Обрадованно вскочил.

— Идем, Наташа. Сын у Джамили, дочери Сафара.

Наташа почти бежала, не говоря ни слова.

— Сейчас мы пойдем к Рустаму. Джамили прислала карточку всей семьи, там и Ахмеджан есть.

— Кто? — не поняла Наташа.

— Васю Ахмеджаном назвали, — пояснил Анвар. — Посмотрим карточку. А я схожу за машиной. Сейчас и поедем.

— Скорее, Анвар, дорогой мой, скорее!

* * *

Он стоял у дороги, маленький, крепкий, загорелый. Он смотрел на машину, вынырнувшую из пыли и закатного солнца. Он еще не решил, что же сделать ему: продолжать ли есть сочный персик, такой громадный, что нужно держать его обеими руками, или со спокойной, как у бабушки Сафара усмешкой, бросить стоявшему рядом Мамату: видел ли ты верблюда, мой старший брат? — и если Мамат ответит «да», начать расспрашивать, какие у него уши, ноги, хвост — машина будет уже далеко и можно будет до хрипоты спорить о ней. Или просто крикнуть, радуясь звонкой силе своего голоса: «вайidot!» и броситься по мягкой горячей дорожной пыли вслед за машиной. Несколько секунд можно будет держаться не отставая, потом пыль забьет легкие, номер машины уйдет вперед. Стремительно работают босые ноги, стремительно бьется сердце: догнать! Но уже пронесется вперед машина, ослепительно блестит ее кузов на солнце... Еще несколько мгновений преследовать ее, толчком оборвать движение, сделать крутой поворот, упасть в придорожной траве: вах! и сразу ощутить тишину, горячие запахи земли, неподвижно раскинуться в траве. А может быть, остановится машина, шофер с брезентовым ведром подойдет к арыку за водой. Тогда можно будет положить ладонь на горячее вздрагивающее железо, украдкой покосясь на шофера, потыкать пальцем в упругое колесо, подскочив на подножку, заглянуть внутрь машины.

Но Ахмеджан не успел еще решить ничего, как машина остановилась. А дальше события сами захватили его. Мелькнуло знакомое, такое знакомое, такое любимое, такое родное лицо. Застыл, не веря себе, все собралось в одном крике «мама!» А может быть, проснется сейчас, как просыпался много раз, чувствуя еще тепло материнских губ, не ушедшее вместе со сном, и снова горько сожмется сердце: только сон!

Остановилось дыхание, выпал огненный жаркий персик из рук, откатился на траву: «Мама же!» И вот он на руках, на руках у матери. Они ласкают, гладят его, такие знакомые, такие любимые, такие родные. Наташа осыпает его поцелуями. Горячие слезы ее обжигают васины щеки и губы ее солонны от них. И нет слов у нее, только: «Вася, сынок мой родной!» Упала тюбетейка с его головы. Поднял ее Анвар, отряхнул от пыли, рад, что хоть это движение дало выход ему, разрядило чем-то скопившуюся растроганность в сердце, потому что не будь его, слезы бы выступили на глазах.

Прямой и строгий стоял Сафар, переживая радость Наташи. Он сделал, что мог. Его семья любила и ласкала ее ребенка, сохранила для нее, а сейчас отдает. И радостно было на душе у Сафара. Он переживал радость Наташи, как свою.

Сначала ребяташки, потом взрослые, плотный круг, возрастающий с каждым мгновением. Раскачиваются всем корпусом женщины, остро переживая встречу, ласков и растроган взгляд мужчин, любопытством горят глаза товарищей Ахмеджана. Никого не видит Наташа. Вдруг за плотной стеной людей раздается крик:

— Джаным-эй, дитя сердца моего, Ахмеджан!

Расступаются люди и в круг почти вбегает, прижимая руки к сердцу, стремясь унять его биение, маленькая красивая женщина.

— Мама! — звонко кричит Ахмеджан. И в возгласе его радость, доверие и уверенность, что его радость сейчас же станет радостью Джамили, почти год заменявшей ему мать.

Наташа поворачивается к Джамиле. В крепком объятии застывают они, смешивая свои слезы. «Мама» — зовет ее сын Джамилю. Мать вернулась к ее Ахмеджану. Широким рукавом платья вытирает слезы какая-то женщина, кашлянув, отворачивается ее муж: видимо, что-то интересное нашел на крыше, не сводит с нее глаз.

В кишлаке длинное, ухо-узун кулак — сразу оповещает о всех событиях. Широкими шагами спешит от колхозного сарая Магзум к дому. Снова и снова останавливают его на дороге, чтобы сообщить новость. Не «спасибо» говорит Магзум, торжественным «будь благословен» отвечает он.

До поздней ночи длится в доме Магзума праздник. Почти все жители кишлака участвуют в нем. Уже восемь тюбетеек подарили Ахмеджану, четырнадцать поясных платков, стопкой лежат шелка. Но на каждый подарок гордо отвечает подарком Магзум: остался его сыном мальчик, спасибо за честь. И кто подарил тюбетейку, получает тюбетейку из рук Магзума или Джамили, и кто принес отрез на чапан, уносит отрез такого же качества, только другой расцветки. В каждой мелочи видит Наташа, что именно сыном рос Вася в семье Джамили. Не приемышем чувствует он себя за столом, набивая рот синим сладким изюмом. Сыном чувствует он себя, взобравшись на колени Магзума. Только сын может отвечать таким ласковым взглядом на полный нежности и уже грустный от предстоящей разлуки взгляд Джамили.

И только на сына могут смотреть так, оторвавшись от разговора, исполненные гордости за ловкость и красоту его, улыбаясь ему, подбадривая его восклицаниями.

Когда разошлись гости, сидела в тесном семейном кругу. Налилась усталостью рука, на которой лежит головенку» уснувшего сына, но боится пошевелиться, чтобы не потревожить его сон. Только крепче прижимает его к груди, прикикает губами к загорелому лбу ребенка.

— Сынка! Ты со мной! Василечек!

А утром зазвенел голос сына:

— Мама!

Ты проснулся, родной мой, маленький мой! Сколько пришлось пережить тебе. Потерял отца, мать потерял и остался совсем один. Но бережно подхватила детство твоя родная советская страна. Вновь обрел ее материнскую и отцовскую ласку в семье чужих людей. Разве можно сказать «чужих». Роднее родных стали они тебе и мне. Не голос крови, голос сердца, голос большой человечности назвал тебя сыном.

Расти, сынок, наливайся силой, разумом. Становись честным и чутким. За многое должен ты Родине. Расти и узнаешь все счастье — жить в большой семье нашей.

Снова слышу голос твой, сынка, слышу имя, большое, требовательное имя.

Какой хорошей, честной и сильной надо быть и мне, чтобы всегда, во все дни и в отрочестве, и в юности, и в зрелые годы, звучал бы голос сына вот так же:

— Мама!

Многому нужно мне научить тебя. Тому, что такое счастье, должна научить я тебя. Что такое счастье, что такое личная жизнь? Разве ты, Василек, не личная жизнь моя, богатая, многогранная?

А разве успехи в работе не личная жизнь, а разве труд мой, вся жизнь страны моей, людей ее не личная жизнь?

Вот оно, счастье, ибо все остальное, придет само, естественно и просто. Протягивай руки, черпай из жизни честную радость ее, трудись для нее, создай ее... Расти, сынок!..

— Василек, вставай, гулять пойдем.

Запрыгал маленький. И начался день, большой выходной день, который целиком можно отдать сыну.

Налила в таз воды. Встал, опершись на руки, растопырил в воде пальцы. Намылила губку.

Поднял голову:

— Мама, а про мышат?

И сразу вспомнила, что раньше всегда мыла его с присказками:

— Рано утром на рассвете

Умываются мышата

И жучки, и паучки... —

Вытирала мягким полотенцем:

— Ты один не умывался... —

Оборвала себя, засмеялась.

— А что это опять, Василий Андреевич, у вас в карманах... — Вытаскивала одно за одним: веревочку, орех, ржавый гвоздь, зеленое бутылочное стекло, огрызок карандаша, резинку.

— Когда же ты это успел?

Все вещи были нужны, очень нужны: резинка для рогатки, карандаш, чтоб рисовать, гвоздь пойдет для мачты, через стекло так интересно смотреть — все меняет цвет, становится не настоящим, веревочка? — да мало ли на что может понадобится веревочка.

Пока убирала в комнате, Вася со Светланой играли перед окнами. Останавливалась, прислушивалась.

— А вот и не перегонишь!

— А вот и перегоню!

— А нет!

— А да!

Вытирала пыль с книг. Сколько радости ждет тебя, Василек. Будешь читать Пушкина, не переводя дыхания, в заветную черную тетрадку будешь выписывать строки Маяковского:

— Читайте,

Завидуйте, —

Я — гражданин

Советского Союза.

Узнаешь, что есть театр, музыка. До звезд будешь подниматься мыслью, обнимать весь земной шар, опускаться в темные глубины прошлого, стремиться к будущему, познаешь радость труда, творчества.

— Знаешь, Света, ты будешь будто волк, а я охотник.

— А я не хочу волк.

— Ну заяц, а я тебя буду убивать, вот у меня ружье.

— А я не хочу — ружье.

— Да оно нарошечное...

А когда нужно было итти гулять, то оказалось, что рубашонка уже перепачкана и содрана кожа на колене и снова нужно было мыть и переодевать сына.

И вот Вася в белом костюме готов к прогулке. Они выходят за ворота. Сколько вопросов, планов, сообщений:

— Мама, а лошадь тоже мясная, да?

— Мам, а ты мороженого купишь нам с тобой?

— Мама, а я вырасту — лучше летчиком буду.

И как радостно встречать знакомых, слышать вопросы о Васе, видеть, как нравится он всем. Да и как бы мог не понравиться он? Такой хороший сын!

* * *

Отъезд был назначен на пятое. Поэтому Таня смотрела па конференцию как на своего рода прощание с работой и товарищами. Сегодня последний раз будет она выступать перед учителями. Искала слов, чтобы сказть все то теплое и приветливое, то нужное, чем было переполнено сердце. А потом мелькнет два — три дня в шуме и хлопотах, и унесет ее паровоз из цветущего города-сада, где нашла приют, ласку для себя и для дочери, нашла товарищей, друзей, многому научилась и многое поняла, — назад, в родной край. Нет, не назад унесет ее паровоз, в будущее, пусть трудное и суровое, но необходимое ее душе.

Самое большее месяц дороги, а через месяц встреча с друзьями, встреча со старым делом, к которому придет более зрелой, которому отдастся более полно. А дальше встреча с Борисом. Спать не могла. Снова мысли возвращались к Наташе — не верилось до сих пор, что остается Наташа. Встала, вышла в сад, где спали Наташа с Васильком. Подошла осторожно, чтобы не разбудить. Но Наташа, уже проснулась. Закинув, руки под голову, глядела она на светлеющее на востоке небо.

Повернула голову навстречу Тане.

— Ну вот, неделя осталась.

Таня присела на край кровати, навила на палец прядь, светлых волос Наташи.

— Не могу поверить, что без тебя уезжаю!..

— А все-таки придется, поверить, — невесело усмехнулась Наташа. Задумалась: нет, не легко будет расстаться.

Словно стремясь рассеять ее грусть, Таня заторопилась:

— А может, ты передумаешь еще?

Вместо ответа, Наташа перевела разговор:

— Ну, а где ты работать думаешь?

— Я только в школе, — решительно отозвалась Таня, — Как хочется вернуться в класс. Жаль только, что к началу учебного года опоздаю. Как я эти первые дни в школе люблю, когда жизнь делает мягкий поворот, еще на одну ступень поднимаются ребятишки. Как они новое имя свое переживают: пятиклассники! Сколько гордости для них в нем, торжества. Вот они сидят, еще неизвестные и уже понятные. В привычной, знакомой обстановке и рамках идет урок, а где-то внутри уже ищутся, устанавливаются формы контакта с каждым. А впереди учебный год. И столько нужно дать им, столько себя вложить в них.

— А еще лучше встреча в начале года со старым классом, — перебила Наташа.

— Ну, с теми и летом не расстанешься, знаешь, кто с чем к новому году придет.

— А все-таки и здесь всегда неожиданность есть.

— Да, и именно ничего не повторится, все особое. Любой ученик каждый день новый. И урок, сколько бы там из года в год не давала его, новый каждый раз.

— Богатый труд у нас.

— Да, — Таня всем существом почувствовала тоску о школе: пора вернуться в школу и снова стать богаче, наполнить до предела жизнь прекрасным творческим трудом своим, — Много в нашей работе трудностей. Только меньше, чем счастья. И в преодолении их опять счастье.

— Знаешь, Таня, — переключила мысль Наташа, — я часто, когда ты говоришь в твоих словах Бориса слышу. Вы с ним так сроднились, что мысли у вас одни, и даже форма у них одна. Он, помню, перед войной тоже так о счастье говорил.

— Как Борис огорчен будет, что ты осталась...

— Борис поймет. Скажи ему, что хочу за многое отработать, за себя, за сына...

— Отрабатывают чужим, Наташа, а чужих мы здесь не нашли.

— Вот уж правда, что не нашли.

— Я думала, сколько увожу с собой отсюда. Разве забудешь когда-нибудь такого Сафара или Джурабаева, Анвара твоего... А все-таки тянет на родину...

— А я, Таня, и здесь себя на родине чувствую...

— Большая везде, — откликнулась Таня и засмеялась, — но внутри большой есть и маленькая... На свою маленькую родину тянет...

Около кровати раздался голос Светланы. Она проснулась, не нашла матери и отправилась на поиски. В голосе звучал упрек:

— Убежала от меня. Всегда ты бегаешь.

Светлана взобралась на руки Тани, уставилась на спящего брата:

седую голову Байтёрякова, довольно затормошится Гончаров — сейчас же захочется ему рассказать обо всем, что наметил провести в школе, обо всем, что уже сделал, и что дало всходы. Бережно и ласково поправит орден Анвар — за фронтовые заслуги получил, в тылу никому не уступит чести итти впереди.

Жадно, затаив дыхание, будут слушать Мирзакаримов, Саттаров, Таджибаев, Богомолова — самые молодые они, мало их, как мало знают, а сколько нужно знать, столько работать, чтобы оправдать высокое доверие родной страны, поручившей им самое большое богатство — детей.

И как неловко, тревожно и счастливо стало Майе Богомоловой, когда Каримов рассказал об ее уроке в первом классе. Всю душу вкладывала Майя в работу. Окончила десять классов. Как нехватало знаний и опыта. Училась, непрерывно училась, ходила по совету Татьяны Васильевны в соседнюю школу, где работала в первом классе прекрасный педагог Текутова. Так искала того, что называется культурой педагогического труда, педагогическим мастерством, так мучительно переживала ошибки и неудачи и снова училась. А их было столько! В первую минуту они казались

просто непоправимыми... Вспоминался и язык, который неожиданно при всем классе показал Витя Козликов, и урок, который еле-еле нашла силы окончить в присутствии Татьяны Васильевны — потом-то уж не боялась ее. Вася Осипов до сих пор читает плохо, а тетради Гени Булкина пестрят кляксами — придется с ними много работать.

И вдруг о ней, да о ней говорит Каримов: «Молодая растущая учительница Богомолова ведет урок на высоком уровне, заботится о разнообразии методов, широко использует наглядные пособия, знает каждого ребенка, тесно связала с семьей».

Смотрит Таня на Богомолову и словно читает, что у нее в сердце. Горят румяные маины щеки, и хочется ей встать и сказать: «Спасибо, что заметили работу, ваша оценка мне дальше расти поможет».

А Каримов переходит к недостаткам. Плохой лошади тысячи ударов мало, а хорошему скакуну одного достаточно, — смягчает он пословицей начало, но с каждым словом накаленной становится атмосфера, и забывает Каримов, что договаривался с Таней не горячиться. Да и как можно не горячиться, когда говоришь о таких вещах, как обман, очковтирательство, бездушие и формализм, о таких вещах, которые губят живое дело и душу ребенка и тяжело мстят за себя самому учителю, превращая его из человека в механизм.

Страшные слова «На суд общественности, на суд Родины» нависают над Мухитдиновым, который завышением отметок пытался поднять школу и свой авторитет. Стыдом страхом сжимается сердце Кадырова — ведь он разрешил провести второй раз изложение в седьмом классе, видел как помогал учитель ученикам выполнить работу — ведь это тоже обман, и разве легче, что еще не знают о нем. Не будет теперь покоя в сердце.

А вот уже невесело стало многим. Вопрос о внеклассной, о пионерской работе. Как тревожат вопросы: «Почему? Разве нельзя было? Если захотеть...»

Было можно, не сделали, не захотели. Только Анвар со своими предметными и трудовыми кружками, Рустам с налаженной пионерской работой и самодеятельностью и еще десять — двадцать человек чувствуют себя более или менее спокойно.

Таня нахмурилась: сколько еще остается недоделок и за ней, ведь хотела собрать семинар пионервожатых, так нужен он, надо Наташе подробно рассказать о нем. Вот прошел почти год, и сколько еще нужно сделать. Вспомнила недавний разговор с Анваром. В последние дни августа к ней приходило очень много узбечек, приносили письма с фронта, просили перевести сына, реже дочку, в русскую школу, пусть классом, двумя ниже. Однажды в это время зашел Анвар. Он болезненно пережил просьбу: значит, узбекская школа дает меньше знаний. Напрасно Таня успокаивала его: «Мне кажется, что дело тут в знании русского языка, сейчас, столкнувшись в армии с необходимостью его, хочет отец или брат, чтобы и Юсупджан с детских лет овладел языком». Анвар просто рассердился: «Так обязана наша школа, понимаете, обязана дать полное знание русского языка. Вот я, например, с учащимися, начиная с пятого класса, говорю постоянно по-русски, а ведь у нас и директоры-то не все по-русски говорят». Да, и здесь еще недоделка. Молодец Наташа, у нее правильная мысль: с нового учебного года открыть обязательную вечернюю школу повышения квалификации учителей всех предметов и классов. Это и качество поднимет.

Начались выступления. Ну, зачем говорит Салимов, что много помогала она ему в школе, что научила работать! Разве столько нужно было помочь... И Икрамов, и Васильев... Нет, это вам, друзья, спасибо... Спасибо за то, что жадно ловили новое, усваивали его, пробовали, искали вместе, вместе добивались результатов. Разве у вас не училась, разве не уезжаю богаче, чем приехала? Разве с вами, благодаря вашей работе, не пережила удовлетворения, радости?..

Встал Джурабаев.

— Товарищи, Верховный Совет УзССР за честную и добросовестную работу награждает товарища Бородину почетной грамотой.

В руках Тани красная, тисненая серебром книжка. Еризбек жмет ей руку:

— От всей души успеха вам в дальнейшей жизни и работе!

Взволнованно смотрит Таня в зал. Счастье оставлять столько друзей за собой. Большое счастье.

А впереди ждет тоже большое и радостное дело, ждут встречи со старыми друзьями. Будут и новые друзья, Таня, будут всегда, где есть честный труд и душа!

* * *

Когда вторая смена начала спускаться в котлован, и Сафар сказал, что пора кончать работу, Боходур нашел в себе силы не показать своей радости. Он поставил носидки около ног Сафара.

— Насыпайте больше, отец, пусть видят товарищи, как работает ваша бригада.

Вместе с внуком Сафара Шарипом, проводившем на стройке все свободное время, понесли носилки наверх. От жары и усталости в глазах плыли красные круги, и все-таки нога ступала твердо, хотя и билось сердце, и болела спина, и напряженно дрожал каждый мускул. Взобравшись на гору, отошли подальше от края. Привычным движением отпустили одну ручку: глухо шмякнулась о землю мокрая глина, докопались уже до слоев, сырых от подпочвенных вод. Боходур опустил косилки на землю и, пока Шарип очищал их от налипшей грязи, потянулся, сбрасывая дневную усталость. Над степью, над засохшими холмами гальки, глины и песка, над пожелтевшей травой голубовато дрожал знойный воздух. Оглянулся направо — звала и манила зеркальная поверхность арыка, сейчас выкупается, смоем грязь и пот и заляжет у чайханы под круглыми громадными шатрами тутовника. Как волны арыка, сон смоем усталость, напоит бодростью и, когда Боходур проснется к вечеру, опять почувствует себя сильным и свежим. В это время повар бригады Казакбай уже приготовит обед. Дружно сядет вокруг дастарханы бригада. Сафар разломит лепешки. Серебряной рыбкой блеснет половник в руках Казакбая.

В молчании съедят маставу, а потом Казакбай, подмигнув бригаде, спросит Сафара, хорошо ли работали сегодня, стоит ли дыней кормить. И мгновенно на четырех углах дастарханы окажется зеленая, сладкая, как сахар, тающая во рту дыня, разрезанная на поперечные ломтики, уже отделенные от корки.

А вечером будут сидеть тесным кружком. Может быть, песню споют, а может быть, расскажет что-нибудь Сафар, много интересного знает Сафар, и без конца готовы слушать его. А потом, когда взойдет луна и спустится прохладный осенний вечер, Боходур еще немножко посидит один или с Шарипом, помечтает о себе, о друзьях, о героях песен и сказках Сафара...

— Купаться будем, друг, — окликнул его Шарип.

Боходур оглянулся на подростка и вдруг вспомнил, что не все сделано. Что без этого ему ни купанье, ни сон, ни сказки Сафара, не пойдут на ум. Взмахнул руками, крикнул и бросился вниз с горы по узкой дорожке, обгоняя рабочих, осыпая землю и гравий.

Когда сбежал вниз и, запыхавшись, остановился около Сафара, итог дня был известен.

Десятник и Сафар угощали друг друга табаком, рулетка торчала из кармана у десятника.

Взглянув на полное ожидания лицо юноши, десятник подал ему мелок.

— Можешь записать бригаду. 160 процентов нормы.

Как кошка карабкается Боходур по почти отвесной стене котлована, чтобы подняться прямо к красной доске. Он торопится, потому что знает, что Шарип бежит сюда же по обочине котлована, и все-таки он опаздывает.

Шарип уже пишет на доске:

«Бригада Сафара Азимова выполнила».

— А вот и неправда, не выполнила!..

— Ну это ты оставь! Если бы не выполнила, ты бы здесь и карабкаться не стал!

— Кто тебе мел дал?

— У Рустама из школы.

Но волнение уже проходило у Боходура. Ласково спрашивает он товарища:

— Ну, что же ты не пишешь дальше

— Сейчас: «Дневную норму на»...

— Ну, пиши...

— Так я же не знаю на сколько, — сердится Шарип.

Молча и торжествуя, отодвигает Боходур Шарипа и пишет «160».

Оба, любуясь, смотрят на доску. Отходить от нее не хочется. Мимо идут рабочие, читают, смотрят на ребят. Кто-то спрашивает у них, скоро ли бригада даст две нормы.

— Скоро, — откликается Боходур.

Выкупавшись, ложатся отдыхать. Но заснуть сразу не удастся. К чайхане подходит Сафар. Посылает Шарипа за чаем. Он не один, а с ним бригадиры Мухамедиев, Кориев. Медленно прихлебывают чай, беседуют. Лучше бы не слушал Боходур этой беседы. Значит, праздник, который рисовал себе, о котором мечтал, может не состояться. И их бригада, и бригада Кориева, и другие делают все, что могут, перевыполняют план ежедневно, а в срок могут не закончить земляные

работы. И все-таки он засыпает. Снится ему, что он управляет широким полотном эскалатора. Нажим, и кубометр земли вырастает на полотне и уносится лентой на вершину горы. Один за другим плывут в грохоте и лязге кубометры, и вдруг каждый из них загорается ослепительным электрическим светом.

— Вставай, обед готов, вставай же, — расталкивает кто-то Боходура. Он вскакивает, забыв мгновенно про сон Солнце уже садится. Со стороны котлована доносится шум работы второй смены. Дневной сон разморил еще больше. Не хочется двигаться, не хочется вставать. Но Казакбай знает свое дело. Словно сам с собой разговаривает он, орудуя у казана, помешивает маставу, причмокивает губами.

Ничего нет лучше маставы и плова на свете. Они как брат и сестра. Силу дают они, крепость дают... Эх, и пахнет сегодня мастава. Кому-то достанутся бараньи косточки, куски белого тающего жира. Такой маставы сам хаджа во дворце эмира не ел.

Первым все-таки встает Сафар. Боходур часто думает, почему Сафар в его годы так силен и вынослив, почему весь рабочий день не выпускает он из рук носилок или кетменя, почему первый встает, чтобы идти на работу, последний уходит с работы. Иногда кажется он ему сказочным и железным. И не знает Боходур: часто болят и ноют старые кости, но лечит их молодое сердце Сафара. Улыбнется себе и скажет: человек может век просидеть под тутовником, будет ему спокойно, но не получит от этого пользы ни тутовник, ни человек. Имеющий терпение, — говорит себе Сафар, — способен создавать шелк из листьев и мед из розовых лепестков. Не тяжел камень, в котором нужда есть, — говорит он. — И тогда находит и терпение и силу. И тогда становится вдвое сильнее, и вдвое сильнее рядом с ним становятся юноши.

А как любит его улыбку Боходур. После улыбки этой любой труд легче, любое слово приятней. Но сегодня в молчании, не поднимая глаз, обедает Сафар и тревожно становится на душе Боходура, беспокойно смотрит на деда Шарип, не слышно ни шуток, ни смеха.

— Почему печально ваше сердце, Сафар, — спрашивает, наконец, Гафур — самый старший в бригаде.

— Наши головы тоже опускаются, — подхватывает весельчак и балагур Акрам, для которого нет ничего тяжелее молчания.

Сафар внимательно, умным взглядом осматривает каждого из бригады.

— Вспоминаю я хорошее слово наших отцов, — медленно говорит он, — лошадь принадлежит тому, кто на ней сидит, сабля — тому, кто ей опоясан, а дело — тому, кто его окончил.

— Так, — склонил голову Гафур, — но к чему это сказано, объясни нам.

— Объясню. Кто хочет, слушайте, только не жалуйтесь, может быть, рассказ мой покажется вам долгим.

— О хадже Насреддине будет рассказ? — не выдержал Акрам, придвигаясь на паласе ближе к старику.

— Нет, не о хадже на этот раз. Расскажу я вам о большой любви, о честном труде.

Подождав, когда вся бригада устроилась на паласе поудобнее, Сафар начал свой рассказ.

— Хочу я рассказать вам сегодня о любимом герое узбекского народа — славном богатыре, строителе и каменотесе...

— О Фархаде, — сорвалось у Шарипа.

— Верно, сынок, о Фархаде, — положил Сафар руку на голову подростка. — Навеки прославлен Фархад любовью и трудом. Сердце его сказало еще в юности: отдай свой труд народу и станешь достойным его любви.

Много славных дел совершил Фархад.

— Нет уменя, — говорит пословица, — масло не вспыхнет, а будешь уметь — вода загорится. Великим мастером стал Фархад. Многими богатствами владел он, но самым большим богатством его было живое сердце, способное любить.

В далекой земле жила красавица Ширин. Кто мог сравниться с нею. Ни цветок, ни песня!

Была она прекрасна, как благословенная наша земля. И прекрасно и благословенно было сердце ее, отданное народу. Потому что условием своей любви поставила она мечту столетий — воду. О воде мечтала земля, накаленная, высушенная солнцем, безжизненная земля. О воде мечтали гибнущие сады к посевам, печально поникшие к земле, теряющие листья и цветы под сжигающими лучами солнца. О воде мечтал народ, о воде, без которой нет жизни, нет цветения, нет счастья. О воде, которая одна может напоить и оплодотворить жаждущую землю.

Многие добивались любви прекрасной Ширин, но она была непреклонна. Иранский шах Хосров хотел обмануть ее. Лунной ночью дал он приказ своим воинам разостлать по степи цыновки. Цыновки блестели в лучах луны, как зеркало арычных вод. Ширин протянула Хосрову свою маленькую ладонь, нежную, как розовый лепесток.

Шах хотел уже осыпать поцелуями эту руку, но Ширин отдернула ее.

— Подожди, могучий и славный, — сказала она, — дай моему сердцу насладиться радостью. Я буду слушать, как пьет воду истосковавшаяся по ней за многие столетия земля, а потом я буду пить любовь твою и нежность, как пила земля воду, которую дал ей ты, великий.

Наступила тишина. Но в тишине все слышнее стало взволнованное биение сердца Ширин, все строже глядели ее глаза и вскоре взгляд ее стал нестерпимым.

— Ты знаешь, что скажу я, презренный? — отшатнувшись от шаха, спросила она. — Я слышу, как новые трещины рождаются в пересохшей земле. Я слышу, как мертвая падает завязь плодов на землю, я слышу, как в далекой кибитке плачет мать, которой нечем будет напоить в зимнее время своего ребенка.

Ширин хлопнула в ладоши, и когда явились слуги, отдала приказ с позором прогнать шаха Хосрова.

На другой день по всему царству поскакали гонцы с призывом к народу идти к царевне и начать работу над арыком. Дни шли за днями, сходили в могилу старики, сединой покрывались головы молодых, но не становился мягче гранит скал, где нужно было вести воду. И только красота и юность Ширин, словно заколдованные ее мечтой, не старели.

И вот в один из дней, никому неизвестный и в рубище, явился на стройку Фархад. Он мечтал о Ширин, лицо которой он видел в волшебном зеркале, но не знал, что найдет ее здесь. Другая любовь привела сюда Фархада. Он увидел людей, задыхающихся от непомерности труда, он увидел гибнущие без влаги сады и поля. Он встал рядом с людьми, плечом к плечу, встал на подвиг, наградой за который будет ему любовь Ширин до последнего дыхания, любовь народа на века.

Взмах руки — и от скалистого утеса отделялся обломок, взмах кирки — и словно блеск молнии озарял расположенный внизу город, пыль застлала солнце, затмила лазурь небес. Спускалось солнце — на мгновенье забывался сном Фархад.

Сафар поднял голову, вглядываясь в раскаленное солнце, почти спустившееся за горизонт.

— Вот только этот час и спал он, — сказал Сафар. — А когда всходила луна, она снова заставляла его за работой.

Настал день, счастливый день, когда были закончены водоем, арык и выстроен дворец.

Фархад шел по сухому дну арыка к перемышке, в руках его была кирка. А от дворца к арыку, уже мчался ветроногий Гульгун, а на нем сияющая и прекрасная летела Ширин, похожая на розовый лепесток на крыльях весеннего ветра.

Могучей рукой поднял Фархад кирку, ударил о перемышку, крутясь, пенясь, играя, понеслись волны, белые гребешки их лизали сухое дно арыка, поднимаясь все выше к его берегам, отражая небо. Все дальше и дальше бежала вода, наполняла водоем, водопадом по порогам скалы устремлялась к городу. Проникла в сады и поля, напоила каждый метр земли. Продолжала свой путь, проливаясь в далекую сухую степь. И где протекала она, вырастали сады, возникали посевы, рождались богатства и счастье.

— Ты помнишь, Шарип, как называли арык у Навои...

— «Рекою жизни» — тот арык с тех пор.

Зовется у людей армянских гор», — прочел, покачиваясь и закрыв глаза, Шарип.

— У людей армянских гор, — улыбнулся Сафар. — Поэт может писать о чем угодно, об Арменистане, или Согдиане, о далеком Китае, но всегда он поет о родине и для родины, ей его любовь, ей его сила, песня и жизнь. Без родины нет че.....

— Там, на стройке!

Молча прошли к котловану. Остановились у доски почета. Разыгрывая рассерженность, сдерживая улыбку, Еризбек строго говорит Шевченко:

— Шутить со мной, Васильич, собрался. Мальчик я, что ли!

— Да я ни сном, ни духом, Еризбек Джураевич, — оборвал, недоумевая.

По растерянному лицу Шевченко, Джурабаев начал догадываться, что и для старика это такая же новость, как и для него.

Вдруг Шевченко нахмурился.

— Кто распорядился? Прекратить надо!

— погоди! — остановил Еризбек, жадно вглядываясь вниз, открыв сердце шуму потока, шорохам земли, звону кетменей о гравий, звонким голосам внизу. — Ты посмотри, какие возможности открываются.

— Какие же возможности, — загорячился Шевченко, — устанут, не выспятся, на завтра производительность упала.

— Нет, не с этой стороны. Просто город должен дать третью смену — ночную. Не дадим земле спать.

Шевченко еще минуту смотрит несколько оторопело и вдруг раздражается восклицаниями, которые завершает что-то вроде «вот, чорт, а ловко же!».

— Но кто же отдал распоряжение, — Шевченко вглядывается в Джурабаева, ищет ответа.

— -Сещце паромное, — тихо ответил Еризбек.

Наверху под повиснувшей на небе громадной луной молчание, аромат трав, блеск воды, шелест листьев. Внизу звон и шум, внизу то, что можно назвать песней, и иначе, чем песней, не назовешь.

Вдруг Еризбек засмеялся молодо.

— Ах, хозяин, думал побеседовать со строителями и на боковую! А ну-ка бери носилки, ночь большая — два кубо; метра за нами.

Через несколько минут спускались вниз с неуклюжей коробкой носилок. На узкой дорожке столкнулись с Боходуром, посторонились на самую обочину узкой тропинки.

Боходур вглядывался в лица встречных.

«Кажется, он? Не может быть. Раз только видел его на курултае хлопкоробов. Тогда Джурабаев сидел в президиуме, отделенный от Боходура цветами, трибуной, красным сукном стола.

— Не может быть, — повторил себе Боходур и засмеялся. — Все может быть в этом мире, где сказка Сафара во мгновение разбудила котлован.

Он поднялся наверх. Широкая степь. Когда-то ждала она воду — вот вода, со спокойным журчанием гонит арык свои воды все дальше и дальше. Зайдет луна и оденется степь мраком, мягким, тяжелым. Чего ждет она сейчас, эта степь? Может быть, ждет, как побегут по ней солнечными искрами огни к далеким колхозам. Внизу в котловане дрожание огней в воде. В сердце Боходура зреет песня. Завтра после работы споет он ее для бригады, споет для Сафара и если посмотрит Сафар ласковым долгим взглядом, счастлив будет Боходур.

* * *

Было все. Была музыка под открытым небом, была торжественная радость в сердце. Были гордые, хорошие слова, когда человек может сказать: обещал сделать — сделал, раньше срока сделал, хорошо сделал, а за сделанным не было успокоения, вставала новая задача и опять надо было напрягать все силы, чтобы разрешить ее.

Уже цементировали площадку, начали закладку здания ГЭС, привезли какие-то машины, уже Боходур оставил носилки и стал каменщиком, мечтая о том, чтобы позже стать механиком.

Было торжественное заседание в городском театре. Сафар сидел в президиуме. Тесно в груди было от мыслей, хотелось поделиться ими с людьми, а когда слушал докладчика, то видел, что именно этих слов искал он.

Слушал о наступлении, о движении вперед и думал словами старой умной пословицы: если ты наковальня, то терпи, если молоток — бей сильно и крепко. «Бей сильно и крепко», — повторял себе и казалось ему, что говорит он с Ахмеджаном. Сдвигал брови, наизусть вспоминая последнее письмо сына.

«Вчера мы с боем ворвались в селение, отец. Немцы почти сожгли его. Во дворе одного случайно уцелевшего дома стояла яблоня. Такая же развесистая, как в нашем саду, отец, осыпанная плодами. Я сорвал румяное яблоко. Закрыл глаза, надкусил его и перенесся в родной дом, в далекие мирные дни. Они вернуться. Вернутся другими. Солнце. Яблоня. Родной дом. Мы придем к вам опять, придем честными, мужественными, более зрелыми. Может быть, не все. В боях за село из нашего взвода пали смертью храбрых украинец Павло Очерет, сибиряк Кондрат Никитин, узбек

Сайд Муратов. В братскую могилу вместе с ними ляжет юноша-комсомолец, партизанский разведчик, снятый нами с виселицы. Никто не знал его имени. Он тоже был молод и любил ее, эту большую сверкающую жизнь, за торжество которой не жалко заплатить своею личной жизнью. Прошли Северный Кавказ, идем по Украине, а мысли уже впереди, там, в далеком и близком логове врага. Я думаю о дне, когда мы выйдем на границу, когда очистим родную землю, когда вступим, наконец, на землю врага. Мы идем не одни, в наших рядах шагают Кондрат, Павло и Сайд, в наших рядах идет погибший комсомолец. Разве могут они остаться лежать в маленьком украинском селе, не придти на праздник победы. И не перед ними ли первыми склонит победа увенчанное славой и солнцем чело свое. И разве не войдет их жизнь в наше будущее, не ляжет навсегда его прочной основой. И разве вперед на долгие годы в успехах труда не будет звенеть их жизнь, щедро отданная братьям своим, не будет пробуждаться их радость. Разве можно отделить их от прошлого и от будущего нашего советского народа. И я знаю, отец, что в блеске моего ордена, — за вчерашний бой награжден я орденом, отец,— в его блеске — блеск их славы. Через час выступаем. Пойду в бой сильнее, понесу в бой силу и ненависть тех, кого схоронили сегодня. А если доживу до мирных дней, отец, как буду работать! Как буду работать я и за себя, и за них, с какой силой, с какой любовью...»

Где-то сейчас и чем сейчас встречает праздник сын. Скоро ли приведется взглянуть на него. Скоро ли сядут под яблоней в саду, и Сафар будет слушать и слушать сына, будет представлять себе дороги войны, дороги смерти и огня, которыми прошел сын, чтобы вернуться в родной дом.

Понемногу мысли старика снова возвращаются к докладу, умный человек делает доклад. Он знает, что сказать, чтобы сердце людей открывалось навстречу правде.

Но ничто не могло сравниться докладом, который сделал на торжественном заседании Джурабаев. Он встал, шагнул к самому краю сцены.

— Товарищи, сейчас по радио передали последние известия. Наши войска овладели столицей Украины Киевом!..

Вот где ты сегодня, Ахмеджан, вот в каком подарке участвовал ты, вот чем встречаешь праздник.

Но ошибся старый Сафар. Не дошел Ахмеджан до Киева. На площади одного из украинских сел в одну могилу с братьями своими лег Ахмеджан.

Пройдут годы, поставят над могилой мраморный памятник. Золотыми буквами будет написано на нем среди других имен имя Ахмеджана Сафарова. Остановится у решетки седой казак, склонит голову и подумает о далекой болотистой белорусской земле, где лежит его сын, его Ивась, остановится и дивчина, затуманившимися глазами прочтет надпись на могиле, подумает о невесте или жене его, к которой не вернулся назад, смахнет светлую слезинку, думая о горькой судьбе ее, своей далекой сестры. Остановятся у ограды школьники, те, кто родится после войны, и будут говорить о нем. Будет возрождаться, расти, крепнуть и богатеть село, оденется садами, украсится счастьем, но навсегда, навеки вечным почетом и славой будет окружено здесь имя Ахмеджана. Пройдут мимо колхозники, говоря об уборке, нахмурившись скажет кто-нибудь из них: «Люди жизнь отдавали»... И на завтра имя твое выйдет с ними на поле, помогая выполнить долг, пусть меньший, но тоже нужный родной земле. Так и будешь жить, Ахмеджан, в горячей песне, в горячем труде, в юности, которая поднимается, впитывая в себя всю красоту людского подвига, воинской чести и славы.

Когда Сафар узнал о постигшем семью горе, он, шатаясь, добрал до дома, молчаливо сел в угол. Рыдали женщины. Нахмураясь, сдерживая горе, смотрел прямо перед собой Шарип. Входили друзья, знакомые, несли в дом Сафара свое сочувствие, но никого не замечал Сафар.

Ахмеджан, — сын сердца моего, Ахмеджан. Вспоминал все, начиная с минуты, когда сказала Азиза, что ждет ребенка. Как вместе мечтали о сыне. И вот первенец — сын. Умом блеснувший взгляд, улыбка, первый зуб во рту, цепкая ручонка, первый лепет и первые шаги. Как сделал ты свой последний шаг из жизни в смерть. Был ли коротким или длинным он? Мучительным или внезапным?.. Детство. Почему так скоро оборвалось оно, детство сына, беззаботное, солнечное. Но разве не был он, сам счастлив назвать его юношей, видеть, как большим и чутким становится его сердце. Может быть, не сразу понял Сафар значение слова «комсомолец», но сразу знал, что это хорошо. Яркий блеск глаз — думал, что » пришла любовь — не хотел мешать сыну жить по своей мысли. Помнит, как улыбнулся сын, объясняя: хочешь, я расскажу тебе, отец, что пишет Сталин о нашей жизни! Где находил сын такие слова, чтобы объяснить ему, неграмотному тогда человеку,

значение горячих мыслей книги, а может в ней и была эта сила, которая делала Ахмеджана сильнее многих. Грамоте тоже учил Ахмед с улыбкой младшего товарища, с почитательностью сына. А когда вместе с сыном начал читать газеты и книги, Сафар понял, что не от любви к девушке горели глаза сына. Но и эта любовь пришла в свое время. Посватал Сафар ту, которая была по мысли сыну. Напрасно отговаривали его товарищи, советовали женить Ахмеджана на богатой невесте. К дому пришла ласковая и умная Шарафат, видел Ахмеджан счастье.

И вот рождение Шарипа, вступление в партию, вот зрелость сына. Как гордился им. Знал Ахмеджан слова, которые прямо находили дорогу к сепцу людей. Знал Ахмеджан, что выше правды и чести нет ничего на свете. А правда и честь в том, чтоб отдать себя народу, без остатка, не жалея. И вот отдал...

Она придет, победа, Ахмеджан! И перед тобой, одним из тысяч вернейших сынов своих склонит голову Родная земля в праздничный солнечный час победы. Ты прав, Ахмеджан, ты снова еще раз прав, как был прав много раз при жизни. Прав и сейчас смертью своею. Твоя честь в сиянии орденов твоих товарищей по воинскому пути. Кто сейчас сражается за тебя, ведет бой, не dokonченный тобой, кто отомстит, за тебя, за твою оборванную жизнь. Сын мой, любимый сын мой! Помоги мне найти силы жить и работать за тебя...

Неслышно вошел Рустам. Он снова и снова возвращался к старику, не решаясь заговорить с ним. Молча сидели оба, не поднимая головы. Заплаканная Шарафат принесла и поставила перед ними чайник. Молча пили чай.

Усилием воли заставил себя Сафар заговорить с зятем.

— Как дела в школе? — спрашивает он.

Получив разрешение заговорить, серьезно и тихо ответил Рустам своим мыслям и мыслями старика.

— Всегда я считал вас отцом своим.

Вздрыгнули губы Сафара. Мёдлетшо опустил веки. «Отец» — из скольких уст слышал он это имя, а уста Ахмеджана сомкнуты навсегда. Печать молчания на устах сына, на горячих устах его, с которых столько раз рвалась песня, на которых жило умное веское слово.

— Никто не заступит места Ахмеджана в сердце вашем, отец.

Вздрагивая, соглашаются ресницы, дрогнул, напрягаясь, мускул на щеке. Нет, не выдаст он своего горя — пусть видят мужчины, как надо сдерживать горе, даже такое страшное, такое непереносимое горе.

Рустам выпрямился и, глядя прямо в глаза старику, продолжал:

— Но в рядах воинов не может остаться пустым места Ахмеджана.

Склонил Сафар седую голову, с трудом разжал губы:

— Молод Шарип, а я стар.

Рустам встал, сказал просто:

— Братом был мне сын ваш, отец. О жене не беспокоюсь — на своих ногах стоит. А горе будет, знаю, что утешите ее. Знаю, что ваш дом — ее дом, отец.

Быстро поднялся Сафар. Шагнул к зятю, прижал крепко к груди. Сползла медленная слеза по щеке.

— Отомсти за брата, Рустам! Послужи Родине, как служил Ахмеджан. Докончи бой за него, сын мой!

Вечером в полумраке перед Сафаром встал Шарип. Брови сдвинуты, и острая боль пронизала сердце Сафара: так: нохож юноша на отца.

— Рустам — только брат героя. Я его сын.

— Тебе нужно учиться, Шарип, — ответил Сафар. — Жизнь еще очень большая впереди.

— Я буду потом учиться, отец, сейчас дни войны.

— Не откладывай. Ученье в старости — запись на песке, ученье в юности — резьба на камне. Да и не возьмут тебя на фронт.

Волнуясь, перебивая себя, ответил Шарип:

— Я не мальчик. Я был сегодня в военкомате. Из девятого класса можно идти в военную школу. Право сына — занять место отца.

Грустно смотрит Сафар на Шарипа. Вот и еще одно детство кончилось — юноша стоит перед ним, что готовит ему судьба. Гордость зажглась в глазах — таким был Ахмеджан в семнадцать лет.

Молча положил руку на плечо внука, не решаясь дать ответ, но другого ответа, кроме «иди» не сможет дать сердце.

* * *

Декабрь, но солнце горит по-весеннему. Еще не опали листья, еще не начались дожди, еще слово «зима» ни разу не слетало с языка. Сегодня в городе торжественный день — будут встречать красные обозы. В развороте улиц полыхнуло яркое знамя, раздались звонкие голоса: «Кони сытые, бьют «опытами, встретим мы по-сталински врага».

Хорошо идет колонна и сами ребята знают, что идут хорошо, а от этого еще правильной ряды, четче шаг, звонче голоса, веселей улыбки. Это двадцатая школа. Ее ведет новый директор, а Рустам уже далеко, под Ленинградом Рустам...

Закончили русскую песню, начали узбекскую песню о Сталине.

Площадь заполняется народом. К трибуне подходят Саттаров, Джурабаев, Иванов. Еризбек направляется к школьникам. Иванов хлопает его по плечу.

— Родню увидел?

— А как же, Петр Михайлович! Дети и школы нам на всю жизнь родня, — улыбается Еризбек.

Он сам устанавливает ребят с двух сторон трибуны. Пришел военный оркестр. На трибуну поднимается президиум. У самого микрофона Еризбек. Перед ним его город, его школа, его народа Глаза сияют. Жизнь подняла его, дитя народа, высоко, над колоннами, над оркестром, поставила на трибуну, под знамена, у подножья памятника Ленину, у портрета Сталина, убранного дубками в густых осенних красках. Но не оторвала его от народа, попрежнему он слит с народом. — Отец, — кричит он, перегибаясь через перила трибуны, и Сафар поднимает голову. Сафар широко улыбается: Еризбек! И вот он уже на трибуне, рядом с Джурабаевым, держит его за пуговицу и что-то объясняет ему.

Наташа оглядывается, разыскивая мужа. Он со своей школой оживленно рассказывает что-то учащимся. Встречается глазами с Наташей, улыбается ей. Как рука любви и дружбы перекидывается через расстояние взгляд, в какую-то долю мгновения рассказывает обо всем, что волнует и радует, и снова каждый занят своим. Нет, почему своим. Одно же у них дело...

Митинг открыт. Распрямляются плечи, поднимаются головы при звуках нашего гимна.

Торжественный, сняв фуражку, стоит Еризбек. Чуть побледнело от волнения его красивое и строгое лицо. Он в шинеле, прямой и подтянутый, самым видом своим напоминающий о войне, о собранности, о дисциплине.

С последними звуками оркестра в конце улицы показываются артисты. Кружась и танцуя, в цветных шелках бегут артистки, тяжелые черные косы из-под цветных тюбетеек льются, как живые; не уступая им, вплетаясь в их танец, полубегут с ними молодые узбеки, играя на чурмандах. Задорные и зовущие звуки чурманды покрываются густыми звуками корнаев, от которых кажется дрожит воздух и чуть вздрагивает само небо. И корнайчи такие же тяжелые, торжественные, как их музыка. Их трое. Кажется, что под ними чуть пригибается земля. Они замыкают шествие. То направив громадные трубы вперед, они идут, раздвигая густой тяжелой музыкой дорогу, то останавливаются, поднимая трубы кверху, посылают звуки корнаев ввысь, но, тяжелые, они падают вниз и, стелются где-то у самой земли, напавая ее густой и торжественной радостью. То останавливаются корнайчи и, поворачиваясь, очеркивают корнями круг, звуки их властно забирают пространство.

Корнайчи, который идет посредине — мощный старик. Если бы ему вместо полосатого чапана, жупан да шаровары, шириною с Черное море, лучшего Бульбы себе не представить. Даже усы у него запорожские. Он весь отдался музыке, движению.

— О, ешан! — возглашает он в перерывах между игрой и бас его такой же тяжелый и чуть дрожащий, как голос корная. Девушки и юноши подвластны его музыке. Кажется, что какой-то цепью связаны они навек с ним и, отбежав в танце далеко, уже почуяв радость и свободу, они вновь возвращаются, усмирненные, покорные и кружатся, сплетаясь воедино с музыкой.

Только успели артисты и музыканты стать у трибуны, как вдали раздался цокот копыт.

Под звуки марша на площадь влетает конная колонна. Это председатели колхозов. Они едут на чудесных, любовно выращенных колхозами лошадях. Нет, не едут они, они красуются, они гарцуют, каждый слит с красавцем конем, каждый просится на картину.

Мгновение — и колонна сломана. Минута не замешательства, а ловких одновременных шахматных ходов. Горячатся прекрасные кони, направляемые уверенной рукой — и вот уже стоят

всадники тесным рядом, стремя к стремени, локоть к локтю против трибуны. Перед строем еще два — три председателя, они осаживают лошадей. Прекрасные сытые кони становятся на дыбы, но вот и они усмирены и колонна всадников застыла, устремленная и ожидающая встретить и оценить обозы, размах и любовную заботу колхозов. С трибуны летят приветствия, дружными возгласами отвечает строй: «Да здравствуют передовики наших колхозов! Да здравствует наша Красная Армия! Да здравствует товарищ Сталин!»

На лучших лошадях и в лучшей одежде явились они на праздник. Сейчас пойдут их колхозы; повезут плоды большого труда, дары колхозов родной Красной Армии. Они чуть волнуются. До вчерашнего дня в тиши и тайне готовил каждый свой обоз. Сегодня можно увидеть, можно сравнить, можно сказать, кто богаче, кто щедрее, сейчас будет видна мера любви и заботы об армии, о семьях фронтовиков.

Вот Пулатов — колхоз «Коммуна» — наклонился к шее вороного коня, на седле, крытом красным бархатом. Он волнуется. Надо было дать больше, ведь для фронта давал. Вот Ходжаев и Рахимов из колхозов имени Энгельса и Тельмана. Ходжаев в круглой бархатной шапке, опущенной лисьим мехом, в отливающем на солнце лиловым и красным халате, опоясанном яркожелтым шелковым платком. Рахимов в воензированной одежде, защитная стеганка, галифе и только вместо фуражки тубетейка. Они; как всегда, рядом. Под ними чудесные кони. Пока оба друга целиком увлечены танцами. Ходжаев, грузный и старый, забыл о тяжести лет и наклонившись вперед, не спускает глаз с проплывающей у самой головы коня миниатюрной и кокетливой танцовки. «О, ешан!» восклицает он при удачных ее поворотах, подталкивая локтем Рахимова. Рахимов спокойнее, не дрогнет лицо, и только искры, прыгающие в глазах, показывают, что танец нравится ему. Они не спрашивают друг друга ни о количестве арб, ни о количестве пудов шалы и пшеницы, тоннах овощей, но соревнование не забыто, не забыто ни на мгновение. Рахимов спокоен, он уверен в победе. Вчера лучшей полновесной пшеницей насыпали мешки, он сам смотрел, как отбирают капусту и репу, наполняя ими решетчатые ящики арб. Вчера вечером послал в колхоз Энгельса бригадира. Ловкий старик ходил по широкому колхозному двору, охал, вздыхал, подхваливая, увел кладовщика на плов. После сытного плова расхвастался кладовщик, а у ловкого старичка ушки на макушке. И сейчас спокоен Рахимов, знает он сколько показывали весы, когда лежали на них круглые набитые мешки с шалой, знает, сколько репы, сколько луку, сколько фруктов дал сосед-колхоз.

Одного не знает Рахимов, не знает он, что ночью долго ворочался под цветным одеялом у теплого сандала Ходжаев, — плохо спится старикам, да и забот много — думал, взвешивал, вспоминал собрание, когда заключали договор с колхозом Тельмана, вспоминал минуту, когда он, седой и уважаемый, стоял перед колхозниками, когда поднял руку, такая торжественное слово:

— Братья — наши колхозы Тельмана и Энгельса. Нет у нас праздника, когда нет почетных гостей из колхоза Гельмана, нет у нас радости без него, а когда у нашего соседа горе, — болит и наше сердце: камень лежит на нем.

Пусть растут и жиреют стада соседей, пусть множатся засеянные поля, пусть родится рис белым и сладким, пусть прибавляются в домах шелковые одеяла, а на плечах колхозников шелковые чапаны. Желаем соседям успеха в труде и радости, но не дадим обогнать себя. Там, где в колхозе Тельмана упадет десять капель пота, мы уроним двадцать, напоим ими землю, отдадим земле свой труд, и земля оплатит нам щедро. Не пожалеем сил, не пожалеем труда, будем работать так, как бьет наша армия врага, и в соревновании мы должны победить. Победить в честь нашей армии, в честь нашей партии, в честь нашей родины.

И погорячился еще тогда старик.

— А если не победим, — сказал он, — если пожалеем груда, пусть потерю я имя, пусть ни сосед, ни друг, ни брат никогда до конца моих дней не назовут меня Абдулкаюмом.

Вспоминал старик, когда друг его Сафар поднял народ в городе и колхозники могли вернуться со строительства ГЭС на уборку урожая. Хорошо поработали они на полях, а стройка шла своим чередом, и скоро загорится свет в домах колхозников. Тепло становится в груди у старика. Хорошо жить одной большой семьей. Вспоминает и школьников. Разве мало поработали они в колхозе. За годы войны умелыми стали их маленькие руки, горячим сердце. Вспоминает маленькую школьницу Малику, по пятьдесят килограммов собирали ее маленькие проворные руки, и не одному колхознику приходилось равняться по ней, а как мерзли эти руки, когда заканчивался сбор, когда в ноябре упали холода.

А сколько поработали весной трактористки. Из далеких краев занятых врагом, усталые, запыленные, с горько сжатыми ртами, привели они сюда тракторы. Трое работали в колхозе. «Так может работать только человек, который хочет разбогатеть», — сказал о них вьедливый и всем недовольный Назим. «Так работает тот, кто любит труд», — зашумели колхозники. Но когда оказалось, что они действительно разбогатели на трудодни, старшая из них — тетя Феня называли ее — пришла к парторгу и сказала: «Пиши наш заработок на танковую колонну». Сколько фруктов перетаскал тогда к ней Назим, все хотел загладить неумное свое слово. Будущей весной в своем родном колхозе поведут они тракторы по заждавшейся родной руки земле. А здесь останутся Акрам и Рахим, которых успели обучить, останется память об их труде и щедрости и долго еще будут равняться по ним.

Многое было, пока собрали урожай, хороший урожай.

Не спится старику, столько сделано, а все кажется ему мало. Но представляет он себе десять сытых лошадей, запряженных в арбы, табунок ишаков, груженных зерном и успокоится: хорошо дал колхоз, щедро дал.

Не спится старику, и в другую сторону направляется его мысль: вспоминает вчерашнее письмо из госпиталя от Мамата, сына своего друга. Был Мамат веселым и горячим, ни на празднике, ни в работе не сдавал, песню пел — все подпевали, танцевать шел — все улыбались, работать шел — тяжелый кетмень соколом летал в сильных руках.

На фронт пошел, и там впереди был, насильно в госпиталь увели. Только тяжелою оказалась рана, потерял веселый Мамат правую руку и сейчас лежал на госпитальной койке, домой собирался. Письмо ему писали, и каждое письмо жгло сердце. Не жалел Мамат руки, не думал о будущем. Знал, что найдет в родном колхозе дело, знал, что ждет его и только его красавица Гульхон, но слезы, но гнев, но ненависть были в каждой строке, в каждом слове.

«Не руки жаль, жизни бы не пожалел, чтобы видеть последнего мертвого немца на родной земле. Родиной стала для меня украинская земля. Видел я столько горя здесь, столько боли, столько огня и смерти, что запеклась кровь в сердце. Не здоровья хочу, не жизни хочу — мести хочу. Для этого ничего не жаль!» Ничего не жаль, — повторяет Каюм и снова вспоминает арбы с овощами, табунок ишаков. Плохо дал колхоз, мало дал! Душно становится от сандала. Встает. Накинув чапан на плечи и одев на босу ногу галоши, выходит на двор. Звезды еще яркие и рассвет не скоро. Поворачивается, чтобы уйти, но звякает кольцо у калитки. Открывает. У калитки смущенно топчется старый друг Рахим, отец Мамата. «Каюмджан, привел я еще ишака. Хочу совета твоего спросить. Сын руки не жалеет, неужели отцу кукурузы жаль. Много ее этот год земля дала». И обнимает друга старый Каюм и невольная слеза падает на седую бороду, ведет друга в дом, подсыпал угля в сандал, на сандале душистый чай, но си деть некогда, надо с колхозниками говорить.

И сейчас сидит Ходжаев на своем коне и ждет, и волнуется, и хочется ему, чтоб скорей разгрузился колхозный обоз, и скорее погрузили колхозные богатства в вагоны.

Вот прямая и строгая Азизова в белой шелковой шали с большими кистями, она ловко сидит на коне, шерсть у него такая черная и блестящая, что слегка отливает под солнцем, отражая алый бархат ее пальто. Год назад ушел в армию муж — председатель колхоза Мопр. Она, лучший бригадир-хлопковод, заняла его место и каждый час дня был занят работой, и каждый час ночи был занят думой о нем. Сейчас пройдет обоз колхоза Мопр. Это сила родной земли пойдет туда на фронт, где в окопе, рядом с новыми кровными друзьями и братьями, русскими и украинцами, лежит ее Шахаб, защищающий большую солнечную землю, защищающий радости ее и их сына.

Еризбек снова у микрофона.

— Товарищи, — взволнованно говорит он, усилитель делает его голос чуть незнакомым. — Сегодня мы принимаем для армии большой дар — колхозные богатства. Велики богатства наших колхозов. И радостно смотреть на них, но у нас есть еще большее богатство, и нет выше радости, чем видеть его. Это народ, товарищи. Наш прекрасный, непобедимый народ, который ничего не делает наполовину, не воюет наполовину, не работает наполовину, не радуется наполовину. В каждое дело вкладывает он всего себя и нет меры щедрости его. Этой мерой может быть только вся жизнь и наградой за эту щедрость должна быть и будет победа.

Да здравствует наша Красная Армия, плоть от плоти и кровь от крови нашего народа! Да здравствует наш вождь и друг Армии товарищ Сталин!

Мощное «ура» прокатилось по площади, и в этом «ура» слились голоса стариков и детей, русских и узбеков, колхозников и горожан.

С обнаженными головами стояли, слушая звуки гимна и особенно торжественными казались они на этой, залитой солнцем площади, где подводился итог новых человеческих отношений в грозный час войны.

Саттаров взмахнул рукой, и первый красный обоз двинулся мимо трибуны. Впереди ехал Гафуров — секретарь райкома. Лошадь, танцую шла под ним. Недавний фронтовик, в шинели, с рукой у козырька он вел за собой обоз.

За ним ехали подводы колхоза «Сталин», колхоза-миллионера, и потянулись бесконечные арбы, пароконные и одноконные повозки, арбакеши, сгорбившиеся в седлах, с ногами, поставленными на оглобли арбы. Здесь и почтенные старики, и полные задора мальчишки. Одни проезжали с чувством собственного достоинства, смотрели только перед собой, другие были увлечены всем окружающим, были готовы присвистнуть, музыке и прихлопнуть танцу.

Мешки, мешки, зерно, беловатые, тугие кочаны капусты, желтая налитая соками репа, свекла, потом бараны, коровы и снова мешки, снова зерно.

Вот раздаётся мелодичный, чуть печальный звон, и на площадь вступили лохматые коричневые верблюды. Они высоко несут свои умные гордые головы. Чуть покачиваясь, медленно идут они, неся с обоих боков мешки с зерном. За ними снова арбы, запряженные лошадьми, быками, ишаками.

Вот обоз колхоза имени Энгельса — зерно, шала, бараны, опять зерно.

— Да здравствует колхоз «Энгельса», — кричат с трибуны.

— Нет, что делается? — говорит пожилой рабочий, приподнимаясь на цыпочки, и через минуту снова восхищенно повторяет:

— Нет, что делается!

— Я уже триста сорок арб насчитала, — вторит ему женщина в платочке.

— Триста семьдесят пять, — поправляют ее.

Наташа всем существом отдалась радости. Может быть, чувство это называется благоговением, может быть, гордостью называется оно?

И другое шествие представляется ей сейчас, когда мимо трибуны движутся дары колхозов. Шествие людей и дел. Здесь и Борис, и Анвар, и Еризбек, здесь и Сафар и Рустам, Таня, здесь и она, Наташа, может быть, самая маленькая и самая слабая из них, но и она шлифует себя, и она идет вперед. Здесь сохраненная жизнь детей, здесь строительство ГЭС, здесь белое облако хлопковых полей, здесь жизнь Ахмеджан, отданная Родине.

Все дальше, все выше... туда к победе. Победа над врагом только часть. О большей победе думает сердце, о вечно сияющей славе Родины.

А над площадью звуки марша. Оркестр умолкает, вступают корнай, скрипки, чурманда. И снова знамена колхозов снова арбы, ишаки, верблюды, снова зерно, шала и снова зерно.

Наконец, скрывается за углом последняя арба, уходят по школам колонны учащихся, унося знамена; садятся в машину артисты и музыканты.

Анвар подходит к Наташе. Он молча берет ее под руку. Они идут по залитой солнцем улице города, родного для обоих. Они молчат, словно боясь проснуться, еще полные пережитым часом.

Но и просыпаться не нужно, это не сон, это жизнь, вчерашняя, сегодняшняя, завтрашняя, и даже меньше, это только часть жизни, большой, прекрасной и богатой, требующей всего напряжения душевных сил.

г. Ставрополь, 1918 г.